

Отсебятина

Иоланта
Сержантова

Иоланта Ариковна Сержантова

Отсебятина

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70230697

SelfPub; 2024

ISBN 978-5-00207-442-6

Аннотация

Рассказы, новеллы и эссе о природе Родины и одна ироническая повесть о зелёном чае. Природа родного края – постоянный источник вдохновения и радости. В описаниях природы автором сохранена незыблемость законов природы, и подмечено то, на что редко обращают внимания. Все персонажи являются вымышленными, сходство с реальными событиями и людьми случайно. Рекомендуется для внеклассного чтения.

Содержание

Заплутавшая в осени	6
Следы...	8
Между летом и зимой	10
Вещий сон	12
Дерево	14
Преданность	16
Подлунное	18
История	20
Боль...	24
Совестно	26
Отсебятина	29
Не короче жизни	31
Ужин седьмого ноября...	34
Главное в жизни	37
В своём праве...	40
Дурак	43
Дурная привычка	46
Веснушки дождя...	49
Как всегда	52
Скорый поезд осени	54
Красота	56
Семейное дело	59
И не однажды...	62

Странности	66
Было бы странно...	68
Не от большого ума	70
Прогулка	73
Снегопад	76
Настоящее	78
Честное	80
Впасть в детство...	83
Доброе	86
До слёз...	89
Заурядное	91
Только этим одним...	93
Вопросы и ответы	95
Жаль	97
По-людски	100
Сны...	103
Снегопад	106
Такие дела...	108
Станция Графская	111
Не могло быть иначе...	115
Маленькие радости	117
Так...	119
Дождевая вода	121
Итальянцы	125
Хорошее	128
Не без того...	131

Приглашение на чай или отЧАЯнная церемония	133
(ироническая повесть)	133
Пока собирается с духом вода...	134
Приглашение на чай	136
День первый.	139
День второй.	144
День третий.	148
День четвёртый.	150
День пятый.	152
День шестой	154
День седьмой	156
День восьмой	158
День девятый	159
День десятый	160
Отсебятина	163

Иоланта Сержантова

Отсебятина

Заплутавшая в осени

День был не пасмурным, но заплутавшим в осени солнечным днём. Потёки бледных холодных бликов скорее портили лик небес, чем наоборот. Хрупкую, второй год живущую прошлым женщину, ветер вёл по дороге, но не так небрежно, как он обходился с павшей духом листвой, а заботливо, бережно, под руку. Хотя сама женщина и не замечала того.

– Дамочка, купите букетик! – Раздалось откуда-то снизу, от земли. Женщина склонила голову в сторону голоса, где увидела старушку, сидящую на деревянном ящике из-под овощей с цветами в руках.

– Давайте. – Не раздумывая согласилась женщина. В вазе подле портрета мужа на прикроватной тумбочке всегда стояли цветы. – «Так чем эти хуже прочих...» – Вздохнула дама, и понесла букет домой.

Подрезав стебли, расположив цветы по старшинству и размеру, женщина сделала шаг назад, полюбоваться результатом отвлекающего её от горя занятия, как заметила, что

опалённые решительностью утренников, мелкие хризантемы лишь сорили лепестками, да не от щедрости, а так только, — ибо им «всё одно пропадать», так лучше красиво, на людях, чем во мраке и духоте компостной кучи.

— Как обидно... — Расстроилась женщина, наметая лепестки на совок, и, дабы вазе у портрета не оказаться к ночи пустой, отправилась за другим букетом.

Покуда женщина шла, осень ясно намекала на скорую зиму, а клёны, притворно, манерно жалуясь на духоту, обмахивались веером листвы, поглядывая с чувством превосходства на покатые, сутулые плечи летних дубов и берёзы, утратившие льняные кудри.

Виноград, упрятавший дома в плетёные корзины, потрясая гроздьями изюма, вскидывал пышный, завитый осенью чуб, чудил, пугая синиц. А те, скрывая озабоченность о собственной будущности за небрежным, весенним почти щебетанием ни о чём, теснились к жилью, дабы тоже оставаться на глазах. Кому, как не им было хорошо известно про забывчивость ослепшего от разлуки сердца.

— Да покормлю я вас, непременно. — Успокаивала птиц дама. Новый букет в её руках, на это раз она купила розы, казался безукоризненным. — И надо ещё прикупить орехов для белки. Та приходит на погост, поджидает у плиты. А там и новый год скоро. Наряжу ёлочку, как в прошлый раз. Где ещё праздновать... с кем?.. Да и не нужен мне больше никто...

Следы...

Небо мелет снегом, будто мукой. Много её надо, многим надобно. Неряхам для форсу и самоуспокоения, ребятишкам для забавы, деревьям да землице для тепла, а тем, кто в ней, – которым для уюта, кому и для покою. Снегопад – то не зрелище, но коли и оно, то не зряшное.

Забелило молоком снега лужи, что сделались уже из-за насыпанного по берегам холодного, простуженного, подмокшего слегка сахара.

Пропуская олений, расступается балюстрада кустарника, роняя снег, ровно гипс, – неровными крупными кусками, оставляя стебли проволокой. К ним ещё много раз пристанет и упущено будет. Всему свой срок.

Виноград набирает полные горсти снега, держит в ладонях, сколь хватает сил, упуская после нехотя. Оставляет себе несколько, дабы разглядеть получше крупку каждой из снежинок.

Которые листы поухватистее, снежки целиком наматают, лепят влажно, ветра ждут, с тем, чтобы после кинуть-швырнуть пометче, подальше.

Жаль – звону не выйдет, тот, что от морозных колокольцев. Да тож снова, – до известного часу некий ущерб, а после, как натешисься всласть, едва дотерпишь до тепла, так опостылеет та стыдь.

И стыдно за свою немощь, да иначе никак, ибо слаб человек, как есть во всём слаб. А коли когда и кажет силу, то не за себя, – за брата-отца с матерью, за землю, за Отчизну. И вот ведь, диво: бывает, пожурит её когда, и в ссоре не раз бывает, а в трудный час выйдет той горой, что не обойти – не сдвинуть, насмерть стоит.

Небо мелет снегом, будто мукой, замечает следы звериные и людей, но не хватит никаких снегов, дабы скрыть от сердца следы героев, что шагают по родной земле впереди прочих, на защите её стоят.

Между летом и зимой

Осень. Время года промежду летом и зимой, до установления снежного пути и рекостава.

Золотые листья берёз в тёплой пене осеннего снегопада... Сыплются они, подобно конфетти, из-под низкого заросшего серпантинном паутины потолка облаков. Чудно и чудно.

Листья клёна, будто отлиты из золота, сияют на белом бархате снега. Не тянется к нему рука, дабы взять, довольно взгляда, так празднично! И не сусального они злата, но как бы рождены березозолом¹, из красноватых капель почек старого золота. Видать, знала-ведала весна, что и как случится. Отчего не сказала никому, утаила? Достало бы сил нынче на восторги, ровнее было бы дыхание, глубже.

А пока – нежданно глубокий снег и нелеп от того.

И разрыдалась вдруг осень. Текут слёзы по щекам земли ручьями, прожигают снег до вымокшей, упавшей навзничь травы. Да не исправить сделанного, не вернуть испорченного. Смывает пудру снега с загорелых ланит листья, явят они себя неприбранными, да измученными. Потемнеет с лица лес, одни лишь голубые глаза цветов крапивы останутся сиять,

¹ третий месяц в году по нынешнему счёту, март

ровно в отместку, нарочно, супротив воцарившейся на троне пня сляче².

Скользкая, простуженная крона леса печалится о недавнем былом, о случае, что обосновался, будто навек, а истощился, стоял с недолгим горестным вздохом.

Снег вперемешку с листопадом, – это не заурядный снег с дождём, но то, без чего неприлично быть осени. Ну, само собою, если в ней осталось хотя чуточку женственности, после всех ея вычурных нарядов, коими полны скрипучие шкапы с разбухшими от сырости дверцами.

Осень. Время года промежду лета и зимы.

² слякоть

Вещий сон

– На вторник, на пятницу не женятся, не венчаются, только сны сбываются... – Скороговоркой пробормотал он, некогда подслушанное у бабушки, припомнил, как ловко делила та жгут теста на ровные ломти для пирожков, заодно надевля небольшими кусочками внуков, сглотнул набежавшую некстати слюну и грустно усмехнулся.

За окном был поздний вечер, последний четверг октября, – тёмный, густой, как перетёртая с сахаром чёрная смородина. Сколь ни приглядывайся, никого, кроме себя, в отражении не разглядишь, всё к себе, да к собственным мыслям вернёшься, так что ничего особенного на сон грядущий загадать он не мог. А наутро...

Сквозь щедро выбеленные снегом щёки полян проступали весёлые, рыжие веснушки сорвавшихся вслед за ветром листьев. Солнце не выдавало себя ничем, но лес слепил и без его пособы, ибо сделался ярче весеннего. Но от того ждёшь-таки, не скрываясь, несказанной радости, а получаешь вдвое меньше. И не по причине лени, нерадивости весны, а именно, что от ожиданий, не убережёшься растратиться на которые загодя, потому как перегоришь.

Нынче же – негаданно! Без веры глазам, с изумлением, что разбудит улыбку прежде чувственного удовольствия, а как заметишь её на своём лице, – поздно спохватывать, успевай только оглядываться, да догадываться.

А кленовые листья, те и эдак, и так: небольшие, как трамвайные билеты, – есть пробитые, в дырочку, ну и годные ещё для проезда, а иной лежит на самом виду, словно огромная, вырубленная из картона открытка с поздравлением на обороте. Поднять бы прочесть, да не тебе писано, не тебе и читать.

И сокрушаешься, что не художник, не писатель, не ухватить от того минуты со мгновением, – канут без следа, а тебе ни за что не успеть оделить тем счастьем ни того, дорог кто пуще жизни, ни просто – знакомца случайного. Чем он хуже, имеет право на то же, что и прочие.

Вот и стоишь дураком, с улыбкой глупою, искренней, ровно дитя перед Рождественским деревом в первый-то раз.

– На вторник, на пятницу... Что ж загадывал-то?! Не припомню. Радости возжелал? Ну, так и получил сполна, а уж от кого, то не нам решать, да и разница, выходит, невелика.

Дерево

– Как же так?! Не сказавшись даже, не вскрикнув. Всё молчком, втуне, да тайком.

Я остановился перед упавшим деревом, что перегородило лесную дорогу. Дерево чудилось не помехой, а скорее заставой. Той, из позапрошлого века, с выкрашенным в полоску столбиком и дощатой будочкой подле для караульного, в чьи обязанности входило подымать и опускать перевес, пропускающая проходящих и проезжающих.

Обыкновенно, если в лесу погибало дерево, то это отзывалось болью во всей округе. Редко когда оно падало набок. Обыкновенно иначе: реже – навзничь, чаще всего – ничком, приникая к земле морщинистой щекой коры. Устремляясь невольно следом за всеми листьями, что срывались с него годами, дерево задевало всех, стоящих неподалёку и вдалеке, – куда дотягивалась крона и боковые ветви.

Вопль, что издавало дерево в последнее мгновение своей жизни, сам звук ужаса, был конечен, он словно бы обрывался на пике, на середине, и следующий затем шорох безмолвия казался от того глуше, глубже, безысходнее. А в этот раз его не было. Я бы услышал, как это бывало уже не раз. Дерево

смолчало. Предпочло не делить свою боль ни с кем, оставить при себе.

Я рассматривал поднятую крышку коры и оставленные жуками письма под нею, собранный в резинку, задранный в падении плюш манжет... Дерево не выглядело сколько-нибудь ветхим и обещало простоять ещё не одну сотню лет. Я не мог взять в толк, почему, как это с ним произошло.

Ворон, что беспокойно кружил над дорогой, заметил мою растерянность.

– Я видел! Я не оставил его одного! – Попыталась унять мои страдания птица, но у меня хватило сил лишь отмахнуться от неё, и даже прокричать что-то в ответ.

На следующий день, когда на месте дерева остались лишь опилки, я услышал, как соседи судачили промеж собой о том, что всего в нескольких шагах от поверженного ствола лежал неживой лис, а пена, обметавшая его пасть, говорила о том, что он был крайне болен и опасен от того.

«Так вот отчего упало дерево...» – Подумалось мне. Оно и впрямь сыграло роль заставы, не допустив пройти нежеланному гостю, и не позволив выйти мне. А я собирался на прогулку в тот день, и нам с лисом было б не разминуться, ни за что.

Преданность

Размеренным, но скорым шагом я шёл мимо сидящих на низких стульчиках цветочниц у ворот погоста, выбирая, у кого из них купить букет. Мои регулярные визиты в это скорбное место, как оказалось, не остались незамеченными, и это стало понятно по тому, как одна из женщин, сидящая по соседству с той, у которой я в тот раз купил цветы, подзвала меня и шепнула:

– Спасибо вам!

– За что?! – Изумился я. – Ведь нынче мне пришлось выбрать не из вашего гербария.

– А так. – Уклончиво кивнула головой женщина, но мгновение подумав, всё же добавила, – За то, что вы есть.

По всему было видно, что она не сразу решилась высказаться, а теперь отчего-то набралась смелости.

Дабы не кофузить и не углубляться в расспросы, я чуть приподнял шляпу поблагодарить. а заодно и откланяться, но по выражениям лиц сотоварок женщины сообразил, что те очевидно солидарны с нею, и с пониманием, а то и сострадая относятся к моему постоянству.

Я навещал родных и близких через день, невзирая на погоду. Менял воду в вазах, ставил или сажал семена цветов,

красил ограды, сметал листву и смывал пыль с надгробий. Но в той преданности, верности не было какой-то особой моей заслуги. Жизнь сложилась так, что кроме как сюда, больше некуда было идти. Так случилось, что меня никто и нигде не ждал. За всеми, кто мог открыть мне двери, она уже закрылась в последний раз.

Друзья детства, однокашники, учителя, родители, сестра, брат и та, невенчанная, но богом данная, с которой без малого шесть десятков лет бок о бок, в горе и в радости, тоже заставила плакать об себе вечно.

Повидавшись со всеми, потрудившись, дабы не остался без догляду или в запустении ни один из тех, о ком я помнил, а заодно и те, неведомые, покинутые давно по соседству с ними, я шёл потихоньку мимо чужих, но знакомых уже людей, по известным улицам, полных новыми людьми, в дом, заполненный одними лишь воспоминаниями и сожалениями о том, что можно было бы прожить жизнь как-то иначе, да просочилась она водой сквозь песок суеты, не оставив никакого заметного следа.

Разве что те цветочницы у ворот, извечные свидетели чужого горя, расскажут кому о странном старике, что ходил некогда на погост, ровно на службу и в жару, и в слякоть, отбиваясь от сытых собак и вороватых белок, коих много бывает обыкновенно в эдаких местах.

Подлунное

Луна глядела на землю сквозь глазок, что отщёрла в заиндевелом от облаков окне неба. Не то, чтобы она взаправду интересовалась, что делается там, внизу, но скорее по причине вечной на все времена скуки привыкшего к своему делу кустаря. Он, безусловно, по-своему хорош, тачает ровно, крепко, так что не отыщешь, к чему придраться, да всё равно – не хватает неуловимого пустяка, какой-то малости, словно бы делалось дело без души, одним лишь старанием и опытностью. Ну, и это не показалось бы бедой, коли б не с чем было сравнить. А ведь и есть!

Рассердившись на луну всерьёз, кружил над лесом ворон. Взывал не как всегда, а будто с надрывом, летал не попросту, не мерно, но изогнув каждое крыло на манер латинского паруса, что выручало его, давало фору противу ветра, пособляло быть к нему круче прочих.

И чего он, кажется, всполошился, но кому, как не ворону ведомы прелести родных мест. Ссорился он из-за них с пришлыми, да перелётными. Те ему курлыкивали про синне-зелёные моря, а он им про реки, что от того голубы, что небо отражается в зеркале их вод.

– Ну, а коли заволокло всё тучками, каковы те твои реки! –

Смеялись спорщики.

– Смурны. – Хмурился, подобно небесам, ворон. – Ибо негоже им погрязать в веселии, коли другим не до них.

Пожимали плечами те крикуны, кивали на недомыслие, либо дурной характер, но перечить ворону не решались, – характерная он птица, коли что ему поперёк – спуску не даст.

Так и взирала луна на землю сквозь прореху облаков, покуда не соскучилась, да не выкатилась непечёным, сырым ко-
лобком на противень горизонта, где ей, собственно, и место. Дабы делом была занята, а не подглядом за теми, кому ни собой заняться, ни по сторонам-то осмотреться недосуг.

История

– Ты знаешь, что Чехов наш родственник?

– Да ладно вам, дядя... Антоша? Мало нам маршала Василевского, так ещё этот...

– Не любишь его?

– Как можно! Что вы! Напротив! Обожаю! Только отчего ж раньше-то было не сказать...

Перебирая мысленно фамилии своих пращуров, восхищаюсь их величием.

Имена некоторых с детства. О них говорили, не отстранённо, не с завистью, как это бывает, коли говорят о чужих, но по-родственному, с понятным обожанием, кровной сопричастностью, а подчас и с недоумённым «откуда что взялось». Скучая об них, не приписывали лишнего, но пестовали всякое малое, оборачивая во всё новые подробности, как подарки, что ждут своего часа под Рождественской елью.

– Видишь, эту игрушку мне братик привёз. – Не скрывая слёз указывала бабушка на оттянутую новогодним украшением ветку пушистой сосенки.

– Красивая..

– Да... – Вздыхает бабушка.

– А когда, бабуль?

– Давно. Он из семинарии приезжал к нам на каникулы и на Рождество, и на Пасху.

– А теперь чего ж не едет?! Давай, позовём! – Загодя принимался радоваться я тому, что к уже известной мне многочисленной родне прибавится ещё один, несомненно замечательный родственник.

– Нельзя. – Хмурится бабушка.

– Отчего ж?! – Начинаю суетиться я. – Давай, открытку ему напишем!

– В другой раз. – Отказывается бабушка, рассеянно гладит меня по голове и подталкивает легонько в сторону кухни. – Пойдём-ка лучше пирожки лепить.

И я тотчас, без лишних разговоров, догадываюсь, что мы не напишем этому бабушкиному брату ни нынче, ни после. И что за этим сокрыта ещё одна семейная тайна, которую унесёт в могилу сперва тот самый брат, а после уж, нарыдав-шись втихомолку, и моя бабушка.

Покуда я был мал, взрослые при мне говорили свободно, надеясь на свойственное возрасту неумение связать события промеж собой. Однако мать, расстаралась образовать меня как можно раньше, и столь преуспела в этом, что я начал задавать взрослым неудобные вопросы, от которых те подчас впадали в ужас или уныние, да начинали прятать подальше от меня карточки, табели и прочие свидетельства минувшего. Сожжённая в тяжёлой хрустальной пепельнице метрика

бабушки оказалась не единственным документом, кой был проворно принят из моих рук.

– Успел прочесть? – Глядя мне прямо в глаза спросила тогда бабушка.

– Успел! – Радостно отвечивал я, и собирался уж было зачитать вслух то, что запомнилось, по обыкновению, с первого же раза наизусть, как бабушка прикрыла мне рот рукой:

– Ну и молчи. Забудь.

Ага, легко сказать – позабудь. Да и зачем, кому в угоду стирать из памяти прошлое своей семьи?! Его нужно лелеять в саду самости, и за это не должно быть совестно, ибо история рода сплетена с корнями, что держат почву Родины. И они сильны друг другом, а не сами по себе.

– Мам, расскажи мне про...

– Зачем тебе? Занимайся собой.

– Ну, как же так...

Я хочу знать поимённо тех, чья кровь течёт в моих венах, но не из желания, почивая на лаврах предков, катится в своё неведомое будущее, как в золотой карете. Это не в шутку волнует меня, заставляет прислушиваться к трепету вечности и в память о пра-пра, вести себя подобающе. И, честное слово, верное знание о них с младых ногтей, помогло бы избежать многих ошибок, я бы уж постарался, дабы не ронять

в слякоть вместе с собой всех, причастных к сегодняшнему дню.

Боль...

Утренние звёзды ранят небосвод острыми, холодными лучами, но он не пеняет им на то, терпит ради красы. Так истязают свою плоть девицы, для мнимой прелести и хрупкости, дабы разбилось после не одно судно о берега их разборчивости, либо неприступности.

Лес в эту пору скромн и тих. Дела и недосуги прежней ночи отложены до следующей, за беспокоем целого дня про них можно не рассуждать, забота сама себя найдёт. А покуда, прижавши свалявшиеся на затылке космы ветвей к стволам, любуется лес не мигая на сияние звёзд. Не ожидая от них увядания, следит за тем, как блекнут они, линяют, и в некий неясный миг, что мельче взмаха ресниц, исчезают во все. Как и не было их, тех звёзд. Наваждение, не меньше. Вот уж, – сказать кому, чем был занят, обнаружишь в себе чудака, промолчишь, затаишься. – истреплешься томлением. Лучшее в том – забыться делом, а мечты, как и счастье, стонятся многолюдья.

Ну и примется лес за шум, шелест и шорохи, захрустит, шагая широко, хворостом. Прислушается с приятностию к приготовлениям дятла, что конопатит щели коры не для теп-

ла, а для умягчения суровости древесного нрава³. Про весну хлопочет птица, не об зиме печётся, как её пережить, там уж всё загодя готово: и дупло, и полог, и мшалые⁴ подушки.

Обернётся вокруг лес, да ну как ветер за руки хватать, – удержать подле хочет, собой похвастать, умениями чужими, ровно собственными. Ветру-то что, – он и задержится, не побрезгает обществом со вниманием.

Может так постоять, а ежели когда притомится, – свалит дубок, дабы заместо скамьи, себе посидеть, ну и другим после, не заберёт же он её с собой в дали путь.

Ранят утренние звёзды небосвод остро отточенными лучами, а он терпит, молчит. Знать, покрасоваться-то интереснее, чем выказать свою боль. Кому она нужна, ведома кому...

³ осенью дятел вносит споры гриба в трещины коры, чтобы та сделалась губчатой, мягкой для обработки

⁴ обросший мхом

Совестно

Идут высокие спелые травы к распахнутым настежь воротам зимы по тропинке осени. Подхваченный ветром, лёгок их шаг. Пушистые шапки спелых колосьев то вздымаются вверх, оказываясь на виду, то опадают, будто канут в пучину, но движение, устремление их к цели столь явно, что ни действительная их слабость, ни то, что они не в состоянии стронуться с места и остаться собой, не та преграда, которую невозможно преодолеть.

Неисчислима их армия. Под её заступничеством – леса и все его обитатели, обитель жизни, существо её существования...

– Что вы, право, батенька! Столь высокопарный слог нейдёт к вам. Будьте проще. Ну, подумаешь, – подул ветерок, потрепал сухие травы по нечёсаной макушке. Он-то недолго поиграет сорванным с их шеи монистом листвы, да бросит, а вы уж и в слезах, и в ажитации. Выпейте чаю с валериановыми каплями, поспите до обеда. Нервный вы какой-то сделались, не нравитесь мне последнее время.

– Признаться, я подчас сам себе не рад. Кажется, и совесть чиста, и при деле, а как задует свечу ввечеру, чтобы ложиться, даже глаза закроешь, закружится прошлый уже день перед внутренним оком, сомкнётся над головой трясина

на сновидений, но вместо заснуть, – словно холодной водой кто сбрызнет, и лежу, щурюсь в потолок, моргаю, силюсь рассмотреть хотя бы что, дабы развлечься. Встать не решаюсь, жаль беспокоить домашних своим топотом.

– А думается о чём, дорогой мой?

– Не могу сказать. Как бы и вовсе ни единой думки, ибо не вспомнить никак, да только кажется, что нападают они роем, жалят, непокоем делятся.

– И больно жалят?

– Не особо. Так лишь после, как уж поднимешься поутру, будто искусанный весь, тело словно комарами исколото.

– Может ложе у вас неудобное или перина нечиста?

– И кровать хороша, и матрас почитай всё лето на солнышке жарился? С совестью, верно, что-то не так.

– Мнительный вы, не иначе. У другого на совести чистого места не найти, вся в пятнах, не то людское обличье, не то леопард перед тобой, а спится тому сладко, ибо чувствуется себя вправе делать любое, что в ум взойдёт. И поперёк ему никто не смей, ни словом, ни делом!

– Ну и как, неужто не перечат?

– Себе дороже! Поедом съест! Обругает! Застыдит так, что ещё после будешь у него прощения просить и уговаривать, дабы сделал он, как сам того хочет!

– Нет... Я так не могу. Совестно.

– Оно, может, и совестно, да легче эдак-то жить. Он и по тем вашим травам в мохнатых шапках протопчется в сапогах, не заметит. А то вовсе – скосит и продаст себе в барыш.

Покуда эти двое рассуждали об совести, травы скинули бараньи шапки, кланяясь ветру, да с этим и полегли. Не для почитания жили они, не напоказ, но всякому знать надобно, перед кем шапку ломать, а подле которого держать её на голове двумя руками, дабы ветром лихим не сорвало.

Отсебятинна

5

Утренняя заря или вечерняя. Коли не думать про стороны света, время суток и глядеть не долше мгновения, так и не угадаешь, что есть что, – день ли грядёт, либо ночь спускается по ступеням сумерек. Это как с жизнью, – есть только то, что теперь, в это самую минуту, и ничего боле.

Возрадуешься солнышку, оно сполна твоё, не заметишь его, вот и обойдёт светило тебя сторонкой. Других, приметливых, – и обогреет, и укажет им дорогу на тёмном нашем пути, почтит обыденность, а тебя-то ровно и не случилось. Ни в тот день, ни в тот раз, ни в тот час.

Разве не обидно? Ещё как! С досады напортачишь в судьбе больше положенного на твою долю.

Сорвавшись с перламутровой створки ракушки луны, розовая жемчужина солнца сияет живым теплым светом на шее рассвета. Краше её только улыбка любимого тебе в ответ, взгляд собственного ребёнка, прищур матери под козырьком

⁵ слово Брюлова (Карл Павлович Брюлло 1799 -1852, русский живописец: плохое живописное сочиненье, картина, сочиненная от себя, не с природы, самодурью

мятой ладони через окошко.

И пускай это было уже упомянуто не раз, – что ж с того. Счастья не бывает чересчур, даже если умеешь уважить всякое на него указание, видимый едва намёк.

Утренняя заря или вечерняя? Какая разница! Лишь бы сбились они со счёта и сбывались, как можно дольше. Рассветы непохожи один на другой, каждый новый закат старается выказать свой собственный характер. Нам ли с ними тягаться. Мы просто люди, успеть бы найти своих, своё, раздать данность и ещё добавить немного сверху. От себя.

Не короче жизни

Скачет белка с ветки на ветку, как указатели часов с деления на деление. И стрелки дрожат, и ветви, и капли дождя на них, а белка, знай, отмахивает времечко от себя хвостом, будто сор. И в том самом мусоре и дупло её с бельчатами, и зимние стужи, и летний зной, и мамкино тёплое брюшко с каплями вкусного молока.

Мысь⁶ серая вся, подстать пасмурному дню, коли б не ждать белки, да не знать про её житьё-бытьё, так и не заметишь, решишь – померещилось, моргнулось не вовремя.

Точно в такие вот, насквозь мокрые дни, вспоминается, как лихо перемогали мы усталость и простуду в геологической партии, сплошь состоящей их комсомольцев и беспартийных.

Потроша витой, поросячий хвостик чеснока и закусывая им же, вечерами мы делились друг с другом планами переустройства мира на сочинённый только что манер.

Извинь, что выписывалась регулярно и без счёту «для протирки оптических осей», точно такой же использовали в те годы лёгководолазы для дезинфекции загубников, стоял

⁶ белка

в громадной бутылки, подпирая угол жилого вагончика и подозрительно скоро испарялся даже при закрытом горлышке.

Для сугреву, от простуды, извинь был хорош и так, а к выходному дню приготавливали нечто более изысканное, а именно – хлорофилловку, добавляя в жидкость для цвету и вкусу всякой травы. Обыкновенно рвали любую, что произрастала поблизости и попадалась под руку.

В те дни под руку некстати попался зверобой, чем изрядно подпортил не только праздничный день, но и всю последующую рабочую неделю. Как оказалось, сия волшебная травка ведёт себя неоднозначно, попадая в мужеский организм, разгоняя в нём неведомые доселе страсти. А так как геологическая партия не подразумевала в своём составе дам, то справляться с создавшимся двусмысленным положением пришлось сугубо мужским способом. Сперва все передрались по выдуманым наспех причинам, после побратались с невиданным доселе жаром, а так как забыться сном никто так и не смог, отправились к речушке, что находилась верстах десяти от лагеря. Река была достаточно холодна, дабы суметь спустить излишек заячьей крови⁷ бродившей в нас, но кроме стыда, снедавшего после довольно долго, мы запомнили на всю жизнь... то чувство всесия и беззаботности, которое питает человечество в пору его взросления и невольно простирается на вечность.

⁷ одно из наименований зверобоя, естественного афродизиака

И несмотря на то, что мы повели себя не как учёные мужи на полевых работах, а как воспылавшие к одному предмету юнцы, смущение и замешательство, с коим шёл под руку тот день, кажется теперь одним из тех, которые, как скоро не пролетал бы, остаются с человеком навсегда.

А долго ли то «навсегда» или коротко... Не короче жизни, по-крайней мере, или чуть длиннее, иногда...

Ужин седьмого ноября...

Застолье после демонстрации седьмого ноября... Это вам не банальный семейный ужин после долгой прогулки в выходной день, хотя и в нём немало приятности. То трапеза, когда нехитрый винегрет и сытые хлебным мякишем биточки с мятым картофелем лишь малая уступка физиологии, для подкрепления сил после марша под знамёнами родной страны. Не хотелось расставаться, понимаете ли, друг с другом, рушить чувство единения с миром, с гражданами той необъятной страны, где все равны и горе, и в радости...

Приятный детскому уху скрип воздушных шариков, запах согретого рукой деревянного древка маленького флажка, на котором, также, как и на большом, что несут, упершись в плечо, старшие товарищи, – звезда и скрещенные в нерушимом единстве молот и серп. Совсем рядом, из соседней нестройной, но дружной колонны демонстрантов, запевают «Там вдали за рекой...»⁸, и ты подхватываешь песню звонким от волнения голосом, но замолкаешь, смутившись вдруг, и тут же слышишь, протестующее многоголосие: «Пой же, не останавливайся! Чего ты! У тебя хорошо получается!»

⁸ автор текста Н.М. Кооль, автор музыки А.В. Александров, дата создания 1924 год

И с лицом краснее знамени, продолжаешь петь, и чувствуешь, как смыкаются подле людские воды, приникают всё ближе. И от этой, набирающей силу волны, хочется смеяться и плакать.

Так – каждый раз, в каждое седьмое ноября.

Становясь старше, ты говоришь родителям, что пойдёшь на демонстрацию с друзьями, хотя в самом деле – шагаешь совершенно один, ибо жаждешь ощутить это непередаваемое чувство единства вновь. В любом из людских потоков тебя встречают по-родственному, – с улыбкой протягивают цветок гвоздики или просят разрешения приколоть выпущенный специально к этому дню значок, на котором непременно маленький красный бант, отблеском пламени всё тех же знамён, что пылают над городом, стекаются лавой по улицам к главной площади страны. Она не только в Москве. Она – везде, в прямом смысле этого слова.

С трибуны раздаётся «Слава советским труженикам!», и люди, отзываясь сердечным «Ура!» нисколько не лукавят, они именно таковы, ведь это их руками строится страна, её заводы и города, их жизнями заплачено за мирное небо над головой.

А когда остаются позади приветствия, обращённые ко всем, как к тебе лично, пусть они ещё не заработаны, но ска-

заны, имея в виду будущую честную жизнь, ты идёшь, и рукой, с зажатым в ней красным флагом, прижимаешь к груди воздушный шарик. Ноги гудят непомерно, а привязанный к древку шарик рвётся из рук, торопит, дабы тебе успеть на тот самый ранний ужин седьмого ноября. Без тебя не начнут. Дождутся.

Там собирались все те, с кем теперь ты можешь поговорить только мысленно, и задавая свои бесконечные вопросы, прислушиваешься к скрипу ветвей на ветру, пытаешься угадать ответ...

– Слава... – Несмело шепчут они, а ты отвечаешь, по-прежнему не стыдясь никого:

– Ура! Ура! Ура! – Только слёз теперь куда как больше, нежели радости. Или с годами их всё труднее сдержать? Не знаю. Может быть. Но всё равно, – Ура!

Главное в жизни

Склонившись над немытой давно раковиной, от которой пахло парикмахерской, я считал розовые капли, что бесшумно капали из носа на отбитую местами эмаль. Которую ночь я не спал, пытаясь подготовиться к вступительным экзаменам в институт, и вот – досиделся до того, что почти без остановки носом идёт кровь.

В дверь постучали:

– Есть кто дома?

– Открыто! – Закричал я в ответ и наспех умывшись, вышел навстречу товарищу.

– Опять полотенце жевал? – Спросил он и рассмеялся, чуть скривив от всегдашнего смущения губы.

– Не дури. – Почти обиделся я, и провёл ладонью по лицу, смахнув с него какую-то нитку. – Это я умывался.

– Ишь, какой чистюля! Прямо-таки енот-полоскун. Ну оно, конечно, с голодухи чего только в рот не закинешь, – хоть мочалку, а хоть и полотенце! – Продолжил шутливо издеваться надо мной он, хотя, судя по виду, роль потешного, навязанная жизнью, явно его тяготила.

– Хватит уже, а? – Попросил я.

– Ну, хватит, так хватит. – Охотно согласился он, и сменив дурашливый тон на нормальный, человеческий, спросил, – Готов? Выучил?

– Учил, но провалюсь. Стопудово. Придётся в деревню к бабке ехать.

– Зачем? Коровам хвосты крутить?

– А хоть и хвосты, какая разница. От отца спрячусь там до армии. Сказал, что не поступлю – прибьёт.

– Так от сказал до сделал – дистанция огромного размера, как говаривал кто?!⁹

– Не знаю. Но у папани близко. Рисковать не стану.

– Ну, это ты зря, риск-дело благородное.

– Не хочу позориться. Лучше сразу уеду.

– Ты это, не дрейфь, паспорт давай.

– Зачем?

– Из моего фотографию на твой переклеим, и все дела. Я за тебя сдам.

– Думаешь, получится?

– Уверен. Я Вальке Веремьеву также помог поступить, а ты чем хуже?

– А сам? Как же ты?! Ты тоже на этот факультет хотел.

– Ну его, передумал. Только время терять. А касательно риска, знаешь, как там дальше?

⁹ Слова героя «Горе от ума» А.С. Грибоедова, полковника Скалозуба

– Неа.

– Эх ты, темнота. Ни Скалозуба не знаешь, ни этого. Учись, студент, пока я жив! – Не доказано, что риск – благородное дело, но благородное дело – всегда риск. Вольтер сказал, между прочим, в девичестве – Мари Франсуа Аруэ!

– В каком ещё девичестве?

– Да шучу я! Тащи ножницы и клей.

...Именно таким манером, в середине прошлого, двадцатого века, мой отец помог поступить в институт нескольким своим товарищам, а сам пошёл в техническое училище при авиазаводе. Закончив его, стал чертёжником, потом инженером, но не абы каким, на его счету девятнадцать авторских свидетельств от КБ Туполева. И всё – без высшего образования. Выходит, оно не самое главное в жизни, а?!

В своём праве...

Всю ночь небеса изливались на землю дождём. С заметным раздражением хлестали они веником струй по неповоротливым, заросшим её телесам.

– Ох, и запустила ты себя... Да двигайся уже! Не ленись! – Не скрывая досады, упорно терзало небо свободное от запёкшийся, потрескавшейся сукровицы мостовой пространство.

И негодовала земля в ответ, пенилась непокорно, а вскипая, затекала глянцевой грязью под мокрый, стриженный чуб газона и свалывшийся, неряшливый от того шиньон лесных полян.

Сбросив шторы листвы в бездонные корыта луж для, быть может, последней в году стирки, лес стал светлее, просторнее, постижимее стороннему взгляду от того.

Сбросив же шоры, он что-то понял в себе самом, в той чаще, что густо заросла и была опутана плотно суровыми нитками колючего хмеля, оцетинилась колючками шиповника и боярышника. По доброй воле лес не советовал бы туда сойти никому, даже себе. Самоё себя, разумеется, тоже бывает очень жаль.

Должно быть у всякого есть в душе такие тусклые, тайные уголки, мимо которых проходишь, зажмурив глаза, стараешься не думать про них, не помнить, позабыть на веки вечные.

Из главного, что уяснил лес, было то, что он сам по себе неинтересен никому. Это, по чести, и не таилось вовсе, а лежало, как водится, на виду, но ускользало от его внимания. Всем что-то требовалось от него. Кров или защита, пропитание, – да что угодно! Им располагали свободно, без стеснения, как собой, и в тот же час не интересовало никого, – в каком настроении он, о чём думает, желает чего.

Нарочно запутавшись в бороде его травы, клещи поджигали проходящих, выкинув вперёд цепкую руку. Пауки с размахом раскидывали сети поперёк тропинок, просеивая каждый выдох ветра понавдоль них.

Одному однажды стодилась молодая поросль, другому и зрелый лес, и тот, который пережил сам себя, но всё ещё на своих ногах. Кто-то рыл норы, иные обкусывали молодые побеги и мяли траву, прочие без жалости рвали подстилку, и не удосуживаясь убрать за собой, уходили, оставляя её в полном беспорядке.

За неимением белого, осень потрясала красно-жёлто-зе-

лёным флагом, призывая нерях одуматься. Да кто когда послушал кого-то, кроме себя, а подчас и этого не сумел.

Гуашь небес и птицы тонко прорисованные чёрной тушью поверх... Сумерки то ли стушевались сами, то ль растушевало их мокрым ветром подчистую. Да не почудилось ли перед тем, что звёзды улыбались белозубо сквозь окна в лепнине облаков?.. Может и нет.

Всё же осень, и в своём она праве. Хочет – казнит дождями и держит солнце в сырой насквозь темнице, а коли пожелает, то и его помилует, выпустит на волю, а заодно уж и нас.

Дурак

Мы с товарищем собирались поиграть после школы в футбол, и он зашёл со мной к нам домой, чтобы я переоделся.

– Мне быстро! – Пообещал я, стягивая ученическую форму, и тут...

– Дур-рак! – Смачно, раскатисто и как показалось мне немного грозно выругался приятель, стоя за моей спиной.

– Сам ты... – Рассердился я от неожиданности.

– Да нет, ты меня неправильно понял, прости. Я тут, на подоконнике, увидел цветок, точно такой же был у моей бабушки.

– И... что? – Не понял я. – Это алоэ, кажется, или как-то там ещё, противное растение. Не цветёт, всё в колючках, да если когда не убережёшься, прохватит на сквозняке, соком в нос капают, а он невкусный и жжётся.

– А мне нравится, да и полезное растение, его многие столетником называют, только бабушка моя его чаще «дураком» величала. Так было смешно, когда она, бывало, подойдёт к окошку где стоял цветок, гардину на сторону сдвинет, и с улыбкой тихонько ему шепчет: привет, мол, дурачок.

Протирала каждый его полосатый листочек, убирала сухие, чтоб не мешали ему дышать, так говорила она, а после

поворачивала другой стороной к солнышку и спрашивала:
«Ну, что, теперь можно и чайку?!»

– С сахаром? – Недоверчиво поинтересовался я.

– Нет, конечно, цветам сахар, кажется, нельзя. Бабушка поливала его спитым чаем.

Кстати же, у бабули он каждый год цвёл. Сперва выпускал отдельный стебелёк, похожий на хвост скорпиона, позже на его конце вырастали розовые острые бутоны, будто маленькие рожки, а там уж и цветы вылуплялись, как птенцы.

– Тоже розовые?! – Удивился я.

– Нет, белые. Небольшие такие. Бабушка очень радовалась, глядя на них.

– Ну, ещё бы!

– Бабушка вообще любила возиться с цветами не только дома. Летом она выращивала в палисаднике георгины, хризантемы, розы, маки, а в пору цветения, нарезала из них букеты и раздаривала проходящим мимо парочкам.

– Продавала?

– Нет, конечно! Я ж тебе русским языком говорю – дарила! Она не торгаша какая-то! Моя бабушка была учителем и даже школой заведовала...

– Директором, значит, работала...

– Тогда директоров не было в школах, заведующие были.

– Да... дела...

– Дела... – Вздохнул товарищ.

– Хочешь, забирай себе этого дурака. – Предложил я. – У

нас их много.

– А твои не заругают?

– Не заругают. Отец всё одно грозился когда-нибудь в окно его выбросить, он тут мешается, а в кухне ещё два таких же стоят, простуды моей дожидаются, подлецы.

– Не подлецы они! Дурачки! – Рассмеялся приятель.

– А мне без разницы! – Махнул я рукой. – Забирай!

Когда мы шли к товарищу домой, дабы отнести цветок и оставить портфель, глядя на то, как бережно он прижимает к себе плоску с цветком, как склоняется к нему расцарапанной уже щекой, я почувствовал, что завидую. Впрочем, зависть моя была светла.

У него в жизни, пусть недолго, но была такая замечательная бабушка, которую вспомнят добрым словом не только внуки, а и совершенно чужие люди. Моя же, чего греха таить, – удавится за копейку, а нынче вечером, ещё будет искать повсюду этот злосчастный цветок...

Скажу, что разбил. Бабка продаёт столетник соседкам по листочку, десять копеек за штуку. Отец меня высечет, конечно, бабка наподдаст. Ну, ничего, потерплю, для друга ничего не жалко. Даже дурака.

Дурная привычка

Время привыкло торопиться. Долго тянется оно лишь от обеда до полдника, да и то, только у малышей. Наверное от-того-то они и подгоняют время, просят взросления не в оче-редь, вырасти побыстрее. Не знают ещё, что время особо не с кем не манерничает, а торопясь пролистать альбом с фото-графиями дней жизни, сжимает цепко листы целыми пучка-ми и отпускает небрежно, так что ничего не успеваешь заме-тить, почувствовать ничего. Кроме лёгкого запаха пыли тех самых страниц.

– Обожди! Не спеши! – Просит человек.

– Отстань! Потом посмотришь! – Сердится время. – Ви-дишь же, что мне некогда!

– Так тебе всегда некогда! – Разводит руками человек.

– А я про то и говорю! – Не пряча надменности, едва за-метно приподнимает время бровь, на большее не потратится ни за что.

Бывает, впрочем, что и задержится оно подле кого-то, ко-торый чем-то очень занят, и манкирует всей этой временной гонкой, в угоду своему делу. Тут уж приходит черёд стуше-ваться времени. Оно нетерпеливо топчется подле, пересту-пая ногами, как тот застоявшийся конь, но, в общем, сносит

молча. Время умеет ценить немногих, себе подобных, бывает, даже позволяет обогнать, дабы после насладиться моментом, ибо всегда знает наперёд, что будет.

Время мстит, когда мы забываем о нём из-за пустяка, но также недовольно оно, если к нему с излишним вниманием:

– Чего это ты? Присматривай лучше за собой! – Ворчит оно, и наверняка отомстит при первом удобном случае, и ущипнув ненароком, оставит заметную морщину, на самом виду. Для острастки.

– Помедленнее! – Просит его человек.

– Это ты давай уже, поскорее иди вперёд. – Настаивает на своём время.

– А что там, впереди? – Спрашивает человек, едва поспевая за ним.

– Сам узнаешь.

– Расскажи, пожалуй!

– И не проси!

– Ну, пожалуйста... – Принимается умолять человек.

– Потом тогда. – Врёт время, оттягивает сам себя, дабы только отстали от него.

– Так когда? – С надеждой вопрошает человек.

– Ну... никогда, я так думаю. – Неожиданно откровенничает время.

Время привыкло торопиться. Дурные привычки есть не только у людей.

Веснушки дождя...

Дело было неким недавним, но канувшим уже в Лету рас-светом.

А и шагало облако по небу, перебиралось с одной верхушки дерева на другую, как по болотным кочкам, да остушилось и упало то ли в речку, то ли в пруд, отчего промокло, обратившись в тучку. Присела та тучка на крышу дома, ножки свесила, косу отжала, отряхнулась, будто щенок, но не до-суха, сделались окна в том доме все в запятых дождя, как в прозрачных веснушках. И не примёрзнуть им ещё было к стеклу, но всё ж не хватило тепла, как веселья на то, чтобы сбежать каплям книзу, стечь с той рамы на подоконник, да соскочить оттуда, промочив землю, дабы сделалась она со-вершенно сыра.

Если присмотреться с улицы в комнату, то разглядишь не жильца или жилицу, и не жужелицу, что пробудилась весь-ма кстати от тепла печи, выбралась из-под коры полена, буд-то из-за раскрытого ворота, и теперь в раздумье – в какую сторону бежать. Перво-наперво бросится в глаза златоглаз-ка, что, ступая по оконному стеклу, ровно по льду, греет на весу то одну стройную ножку, то другую, и неловко кутается в шёлк своих крыл. Впрочем в летнее, сколь ни оборачивай-ся, всё одно – бестолку.

Златоглазка более, чем скромна, но делается заметной в доме именно перед наступлением настоящей осени, когда уж непонятно – отчего это запаздывает погода со снегопадом. Нешто испытывает недостаток в той белой шерсти, из которой вяжет она на округу, стуча то ль зубами от холоду, то ль спицами, а то и всем сразу. Неужто неясно, что пора уж укутать потеснее морщинистые шеи стриженных на лысо деревьев, подоткнуть одеяло сугробов под хрупкие ещё кусты, застелить поляны плотными коврами, наделить ветки сосен пушистыми варежками, а лиственные, больше для форсу, нежели для тепла – кружевными ажурными перчатками или хотя митёнками. Их пальчики всё одно останутся холодны до самой весны, так что уж не к чему тратиться, обойдутся и так.

Об эту пору златоглазке немислимо появиться в прозрачном своём хитоне не то на людях, но просто перед окошком: продрогнет, глядя на своё отражение. Дрожать станет мелко, да часто, и от того заберётся она повыше, отыщет место поукромнее, в тот пыльный уголок, куда хозяйка заглядывает реже всего, ну и переждёт там холода.

Покажется златоглазка лишь в конце зимы, когда февраль, зажмурив глаза от яркого солнца, примется самозабвенно бренчать на сосульках, словно бы на расстроенном пиани-

но заезжий гусар, которому и соврать, и сфальшивить не совестно, ибо вскорости переведут полк в другое место, а там уж несть ничего от него прежнего. В новых-то краях всё иное, кроме него самого, ну и, в числе прочего, – неведомый ранее конфуз...

А покуда... Пасмурно. И сквозь крылья златоглазки, что ступает с опаской по оконному стеклу, просвечивают косые веснушки дождя.

Как всегда

Утро. Не то туман, не то облако прилегло в низине от земли. Не разобрало в сумерках, где что, перепутало верх с низом, как день с ночью.

Ливень примолк давно, но в тёмный от недавнего мытья паркет листвы продолжает стучаться небо, роняя воду, будто сухой горох. То иней капает дождём с высоты облака, на траву топтану, на тропинку до земли хожену.

Рыдая, из-за оплывших черт, иней теряет утончённость, изысканность, а по причине содрогания рук, что мешают выводить прежние линии, ему не удаётся больше отрисовать тоже самое, что часом или двумя раньше, когда он ещё был в холодном расположении духа, и не столь нервен, как теперь.

Подернутые изморозью, как сединой, гнутся долу стожки сырой травы, горбятся, будто ненужные никому старики, тают сорными сугробами, делаются вровень с землёй, так что к полудню и не разобрать, – то сена кладь или кочка.

Ветер трёт мочалом крапивы выступающие ключицы оврага, терзает, ровно врага. Он кажется сердит, но не из-за самого занятия, а вообще – от надобности подчиняться принуждению. Весна и сама переменчива, лето вспыльчиво, да

страстно, а вот осень... С нею не поспоришь. Задумает благородить округу – нипочём не отговорить, и покуда не погонит её зима отдыхать, будет хлопотать, да приневоливать прочих на тож.

И всё же ветру удалось однажды улучшить минуту и скрыться. Не отставая, за ним поспешило облако, следом как-то незаметно рассеялся и туман.

Зачем он был – неведомо. Должно, скрывал нечто дурное, а с тем не дал разглядеть и хорошего. Впрочем, как всегда.

Скорый поезд осени

Отбросив холодной влажной рукой ветра чёлку ветвей с бледного лба, утро вздохнуло. Утомление, с которым встречало оно очередной день было оправдано вполне. Избалованному летней порой, теперь утру не хватало света и звуков, того потока образов, многообразия, кой изливался через край мирской чаши с середины весны до излёта осени.

Пустой, прибранный чересчур чисто, лишённый этим тайны, готовый встретить зиму лес страшил, ровно предугаданный удел, ибо не всякая ясность – благо.

Ветер, словно одинокий городошник, стучал деревьями друг об дружку, тщась выбить их с места, да, к счастью ему это не удавалось никак. Пережидая качку, белки сидели, притаившись в дуплах, и боролись с дурнотой, воображая себя в колыбели. Дремота была им наградой за сообразительность и умение рассуждать образами, домысливая действительность. Дятлам же, чисто по-птичьи, претило стороннее умение прямолинейно доискиваться до сути вещей, и только потому они избегали потворствовать ветру, но слетали с накренившейся палубы стволов, пережидая шторм на лету.

Мало у кого не было причин быть недовольным ветром, и только вишня, доверчивая, как все приличные барышни, не

перечила ему, а лишь махала из последних сил рукой ветки с зажатым в ней последним жёлтым листом.

Она просила скорый поезд осени остановиться, сожалея о тех, кто не успел рассмотреть в окошко, что там делается, в той жизни, мимо которой торопимся все мы, не задерживаясь ни на миг.

Отбросив чёлку ветвей с бледного холодного лба, утро вздохнуло:

– Пусть хотя так! Не век же быть без солнца. Надоест ему прятаться когда-нибудь. – И село ближе к окошку, чтобы не упустить ничего из каждого мгновения проносящейся скоро осени.

Красота

– В детстве мы себе не принадлежим, не отдаём отчёта, что происходит и куда попали. Хотя бы стареть надо осознанно, красиво, вы не находите?

– Да разве это возможно!

– Ну, вы сами посудите. К примеру, – увядшие листья. Бывает, конечно, что осень сминает их в кулаке, один за одним, комкает, бросает небрежно, словно использованную салфетку. Хрустнет такой под ногой, обратится в пыль, и нет его больше. А подчас заметишь упавший листок, и не то ступить, – наглядеться на него не можешь, дышишь через раз, так он хорош!

– Что там в нём может быть такого, не постигаю! Ненужный никому сор, объедки, что бросило лето под стол осени.

– О... Не скажите. Право, я от вас такого не ожидал. Каково у вас мнение, однако... Чересчур вещественно! Мало того, что листва насыщает землю, укрывает, бережёт от морозных ветров и её, и тех, кто спрятался под нею, будто под одеялом, но будь я художник, я бы рисовал бесконечно всякий лист, не пропуская ни единого, ибо у каждого – свой собственный портрет, своя история, собственная судьба.

– Судьба?! Вы, верно, смеётесь надо мной! Они все на одно лицо! Весной в один голос трещат красными от натуги почками и ждут листопада! А как только садовник сметёт их

в яму, всё, забыто! – впереди Рождественский пост, Рождество, Крещенская иордань, да там уже сызнава круговерть – почки-листья, после те самые сугробы сухих листьев, которые неведомо куда девать.

– Экий вы,brateц, бесчувственный. Неужто вам их никогда не бывает жаль? Нешто ни единый не побуждает приглядеться к себе? На который присядет мотылёк, где божья коровка присматривает за детским садом тли или гусеничка завернётся в листочек, как в одеяло. Осень, и та приглядывается к ним, и не всякий лист бросает куда попало. Иной спрячет под порог, в укромное место, как промежду страниц книги. Ведь случаются и румяные листы, и сплошь золотые, и такие, что слетит с них эмаль, и они как только -только из рук сканщика¹⁰, каждую жилочку видно, хотя сейчас неси барышне в подарок на бархатной подушке.

– То-то она обрадуется, та барышня! Рассердится, скорее, что безделицу ей поднесли.

– Ну, коли глупа, то и осерчает, спорить не стану. А ежели она духовное существо, не токмо вещественное, то и поймёт.

– Одним этим вашим не проживёшь. Телу материальное нужно, осязаемое: сытость, тепло, да веселие.

– Ну, а коли когда кончится оно, веселие ваше, тогда как? В паутинку листа на просвет скорее поймаешь родственную душу, нежели на каменья и червонное золото.

¹⁰ мастер – ювелир на Руси из ниток драгоценного металла делал украшения

Стареть надо красиво, как листья. А умеют люди, так-то? Спадёт с них румянец с гладкостью, станет видно суть человеческую. Доброму оно и ничего, а коли нет того в человеке, чем ему покрасоваться-то? Выходит, что и нечем.

Семейное дело

Дело было почти семейное, промежду берёзовых. Известная доля иронии, заключённая в нём, присущая бытию вообще и текущему моменту, в частности. Половинки скорлупок лещины, сочного лесного орешка, лежали попарно в чашах следов, оставленных лисой на присыпанной снегом берёзе, что прилегла минувшим летом, казалось ненадолго, а оказалось – навечно.

Лиса была голодна, но кушала аккуратно, ибо знала. – стоит поторопиться, и вместо круглой сочной сладковатой мякоти, выйдет каша из ореха и скорлупы. Замучаешься после выбирать, да вылизывать, но так и не насытишься.

Лиса осторожно разгрызала очередную раковину ореха, и всякий раз мыш, которая сидела неподалёку, в тёплой пещере пня, разочарованно вздыхала о том, что не видать ей крошек с лисьего стола ни теперь, ни потом. Мышь так давно не ела орехов, что обменяла бы половину своих запасов на один-единственный орешек.

Чудилось ей, как выгружает она на середину поляны скопленное за лето, двигаясь неторопливо, и для солидности, а не от слабости здоровья, временами преувеличенно громко переводит дух... Эдак, довольно долго выносит она из норы

всякую всячину, так что постепенно собирается целая её гора, и земля начинает крениться на бок. Но тут, как рыцарь, в бронзовом шлеме скорлупы, в железных латах, появляется орешек, топает внушительно, выбивая из снега ручьи сока, чем ставит землю ровно, как она доселе и была! И все вокруг, кто следил за происходящим из-под кустов и из-за деревьев, с ветвей и из поднебесья, вздыхают с облегчением...

Раскусив предпоследний орех, лиса поняла, что почти съела, и задумчиво поглядела в сторону мыши. Она давно заметила обрубок её хвоста, что вздрагивая, оставлял волоски на поверхности занозистого наста у пня. Лиса взяла последний орешек, обошла кругом мышинные хоромы и разжала зубы прямо над головой у полёвки.

– Ой! – Орех упал к её ногам. – Я же так тихо сижу!... – Пискнула мышка.

– Зато очень громко думаешь. – Хмыкнула лиса. – Угощайся. Сматривала я намедни, как ты тимофеевку грызла. Глядеть на то тошно. С неё не разжиреешь, поди.

– Да нет, оно ничего, коли нечего больше.

– А ты же, вроде, запасы делала, хозяйство вела.

– Вела, делала. – Кивнула мышь. – Только по осени трактор тут был, перепахал все кладовые подчистую, сравнял с землёю...

– А на что ж ты собиралась орех-то менять, коли так?! –

Удивилась лиса.

– Так я... Мечтала... И ничего больше. – Вздохнула мышка.

Лисица из деликатности поспешила поскорее откланяться, порешив оставить теперь свою приятельницу с орехом наедине. Они уж договорятся, найдут общий язык, – кому есть, а кому быть съеденным.

Сиживал я с краю той берёзы, видал лису, и мышью, и лещину грыз. Лисе давал по целому ореху, мышши – по половинке, а себе горсточку. Да не от скупости, а чтобы не идти в иной день без подарка в гости, коли вспомнит обо мне кто и позов

И не однажды...

В одном из домов, что по сей день стоят почти на самом берегу чистой, ровно слеза, речки Клязьме, жили некогда четыре кота с хозяйкой и человек, который не был их хозяином никогда. Скорее – он сам был хозяйским, маменькиным сынком, и как от кота, от него требовалось лишь использовать по назначению ванную, хорошо кушать и вовремя сообщать матушке о довольстве жизнью. Его не страшило находиться в одном ряду с кошачьими, да и не задумывался он о старшинстве или собственном предназначении, покуда мать была жива, но как только старушка отдала Богу душу, пришла его пора начать размышлять о том – кто он, каков и нужен ли кому.

На первые два вопроса ответа не было, а вот котам он был необходим. И спустя довольно непродолжительное время, мужчина понял одну простую вещь, – несмотря на то, что он старше любого из них, ничего не понимает в этой жизни, и не способен ловить мышей ни в прямом, ни в переносном смысле.

Первое время, лишённый привычного распорядка и материнской опеки мужичок находился как бы в онемении всех чувств. Он плохо спал, не понимал вкуса еды, а через поло-

женный срок, когда мужчина вступил в права наследства и получил в полное безраздельное пользование крепкий дом, чистый двор и тех самых котов, он и вовсе отчего-то решил, что не вправе находится под одной крышей с усатыми.

– Эту привилегию мне придётся заслужить... – Сказал мужчина котам, и перенёс нехитрое своё имущество в добротный дровяной сарай, где присев на неширокие козлы, застеленные тощим тюфяком, набитым тонкой соломой, почувствовал себя на своём месте.

Соседи смеялись над мужичком и над его внезапной причудой поселиться в сарае. Тот врал, что в комнатах ему душно, но если по правде, ему было страшно не только жить в доме, но даже заходить туда.

Впрочем, мужичку приходилось-таки пересиливать себя, хотя бы для того, чтобы покормить котов. Оставляя входную дверь открытой, он молча наполнял миски, котов на руки не брал, как это делала матушка, и кроме того, избегал смотреть им в глаза.

Дважды в день мужчина навещал любимцев матери, трое из которых пользовались всем домом, кроме одной, запертой комнаты на втором этаже, которую занимал крупный рыжий кот. После исчезновения хозяйки, тот сторонился и людей, и собратьев, а все дни проводил в раздумьях, с презрением

обозревая пространство с высоты платяного шкафа. Судя по всему, кот предпочитал дождливую погоду, ибо именно в тогда он спрыгивал на подоконник. Глядя на него, казалось, что он вчитывается в писанные на стекле слова и строки, с частыми запятыми дождевых капель меж ними.

Игнорируя ответы на вопросы, подсказанные самой жизнью, человек придумывает небылицы, но случилось то, что случилось, и ничего боле.

Неким дождливым полднем мужчина вышел из своей сараюшки, взглянул в окно родительского дома, откуда, сквозь зарёванное стекло, с тоской и состраданием на него смотрел рыжий кот. И этот горький взгляд так отозвался в сердце человека, что мужчина впервые зашёл в дом без страха, но с одним лишь намерением – прижать рыжую голову к своей груди, утолить печаль единственного существа, которое тосковало по его матери так же, как и он сам.

Вот, собственно, и всё. Мужчина вновь стал жить в доме, в одной комнате с рыжим котом, а трое других его собратьев бегают по всему остальному дому и смеются над ними обоими.

– Стрдание – удел тех, в ком есть душа.

– А в ком её нет?

– Да разве бывает так-то?

– Так вот было же, было...

– И не однажды...

Странности

Деревья, покрытые свежим лаком дождя, блестели при свете единственного на всю округу фонарного столба. Тропинки едва ли не струились под шагом, а трава скользила под ногой, то ли прогоняя прочь, то ли принуждая поторопиться.

Темнота и сырость мешали насладиться неброской прелестью, что источали редкие в эту пору, отчасти увядшие, словно надкушенные первыми заморозками цветы и изящные, расслабленные кисти ветвей, обронивших листву. Роскошь меховых накидок сосен казались теперь слишком броскими, неуместными, лишними, и ночь, словно соглашаясь с этим, прятала их за своей спиной.

Поляны, мощёные павшей листвой, будто паркетом морёного дуба, манили испортить ровную тесную кладку вычурного орнамента, ибо под каждым листом мерещилась скользкая, липкая шляпка гриба. Их не было в этот год, и быть не могло, по причине странного лета, и не менее странной осени, утеравшей свой образ и подобие. Но всё одно – чудились те грибы, да непременно и сразу в тягучем солоноватом расоле с горошинами перцу и прочими изысками кухни, до которых иному гурману и дела нет, лишь бы красовались во время обеда неподалёку, в белой фарфоровой лодочке, так

чтобы дотянуться и зацепить вилкой пару-тройку крепеньких грибов.

По чести – с детства не люблю я тех грибов, да так, что от одного варёного запаха воротит с души, а вот собирать, глядеть на них, да чтобы были на столе, и, скосивши на них глаз, брызнуть солёным помидорчиком... А грибы ... сами, – пускай просто полежат.

– Странный вы, дядя...

– С чего это?

– Да который раз замечаю, что вы грибов себе на тарелку кладёте, а кушать не хотите. Зачем берёте?

– Нравятся они мне. Красиво.

– И только-то?

– А вам мало? Вот мне, к примеру, этюд на стене нравится.

Вы ж не просите, чтобы я и его ел? А он маслом писан!

– Так это ж произведение искусства!

– Вот с этого дня считайте, что и грибы для меня, как произведение.

– Я ж и говорю – странный вы, дядя, очень странный.

Что выказывает в нас человека? Желание сострадать, поступки и странности. Большие у маленьких людей и наоборот. Кому как повезёт.

Было бы странно...

– Чего она мельтешит? Может, случилось что?

– Вы про кого?

– Да, видите, во-он там, через дорогу, за кустами лещины промеж дубками белка скачет.

Я присмотрелся в ту сторону, куда указал приятель, и заметил необычную, более обыкновенного, суету увёртливого в любую пору зверька. Белка двигалась челноком, хвост тянулся за нею пушистой ниткой, и чудилось, будто бы она мастерит венок, вплетая серебристую ленту в гибкую покуда, словно проволочную скань ветвей.

– Да... так и есть. Крутится, ровно завивает круглую плетеницу¹¹. Кого дарить станет, как полагаете?

– Так осень, не иначе, кого ж ещё. Ей с благодарностью поднесёт, да после зиму тем же встретит.

– А не рано?

– Там посмотрим, рано, нет ли.

Не успели мы с приятелем рассудить о том, насколько проворство белки подстать её прозорливости, как в воздухе

¹¹ венок

то ли зависли, то ли проступили хлопья снега. Судить об его преждевременном появлении не приходилось, ибо шла последняя седмица ноября. Девушки из ближнего окружения уже шептались относительно нарядов к Рождественскому балу, и приготавливая папенькам или дядьям к празднику очередную, ненужную в хозяйстве, но милую вещицу, ходили с исколотыми от вышивки пальчиками.

Как только белка замерла, закинув на плечо ветки для равновесия хвост, снег стал под цвет неба, совершенно прозрачным, облако прыснуло мелким дождиком, так что не стало видно недавнего снега и на земле.

– Ну, что, – Улыбнулся приятель, – есть ещё время у белки до зимы. Как думаете?

– Скорее, да, чем нет. – Согласился я, и добавил. – А у нас?

– Как пойдёт... – Неопределённо пожал плечами приятель, и глянул на небеса.

В его взгляде было больше мольбы, нежели вопроса. Было бы странно, коли б то было наоборот...

Не от большого ума

Я бодро шел по остывшему в одну ночь лесу, делая вид, что не слышу как он шепчет мне:

– Поторопись...

Вместо того, я замедлял шаг, а временами даже останавливался, так что лес, который ступал след в след, налетал на спину, и с усилием сдерживая сбившееся дыхание, затихал.

– Ты где? – Спрашивал его я, едва ли не пугаясь собственного голоса, но тишина была мне ответом. Не та, случайная, нарушимая, но полная, глубокая и безутешная, которой у всякого не так много прозапас.

Стряхнув наваждение, я двигался дальше, в том ритме, который назначил себе сам, и остановился только, когда подошёл к реке, которую не видел с самого лета. Я давно намеревался навестить её, да всё было не до того: то недосуг, а то из-за полного отвращения к какому-либо занятию. Теперь же, из опасения не пробраться по высокому снегу, что вскорости обещал заявить о себе, я спешил запомнить реку дремлющей, дабы после мечтать об ней, об её прозрачных до песчаного дна водах, об озябших уже, задумчивых, в виду зимы, карсях, и о небе, что умывает заросшие деревьями щёки в холодной воде, презревши даже самый ледостав.

Ступив на простор берега, я невольно охнул. Эти места,

в заботе о душевном покое, не утомляли себя стремлением к внешнему блеску. Умиротворение, царившее здесь, наполняло округу той истинной, неподдельной красотой, повторить которую, описать, значило бы оскорбить недоверием. Серое небо без единого всплеска роняло себя в спокойную воду, где покорные течению водоросли внимали утончённой прелести рыб, цвета тусклого, ношенного часто серебра.

Плёт реки, неловко заштопанный первым льдом, гляделся протёртой пяткой шёлкового чулка. Тропинка, что вела от пригорка к мелководу, грубо, наспех, через верх прошитая суровой ниткой травы, держалась крепко, и, прихваченная морозом, судя по всему, обещала продержаться до весны. Лужи слякоти поспешно стыли воском...

Величие и достоинство пейзажа не портили даже вороны, что тщились поскорее задуть тусклый огонь дня, и для того усердно махали на него крылами.

Я не успел ещё наглядеться на реку, как заметил, что усилия врановых не напрасны, и сумерки, будто толпа недовольных мною, обступают всё теснее. Вот тут-то я понял, что имел в виду лес, упреждая поторопиться, и поспешил в обратный путь.

...Как мы недоверчивы, подчас, и доверчивы столь, в иную минуту. Да всё не с теми, которые желают нам добра.

Никогда не умеем мы верно распознать того. Не сказать, что по глупости, но, как видно, и не от большого ума.

Прогулка

Сколь раз не зарекался я гулять смурной порой по лесу, столь и отправлялся туда, влекомый собственным любопытством и привычкой внимать унылому очарованию вековых дубов, что лучше прочих умеют соперничать и хранить тайны...

Лес не был похож на лес. Скорее, он напоминал поле брани. Ветки, лишённые коры, словно доспехов, загорелые и белокожие, лежали недвижимыми телами однажды и в один миг поверженных друг другом соперников.

С копий тонких ветвей, пронзивших не только врага, но и землю, голубоватой кровью стекала дождевая вода. Уцелевшие стволы, приникнув друг к другу, скорбели о погибших, а немногие тяжело раненые отдыхали в объятиях собратьев, готовые биться до последнего или рухнуть без чувств, – оба дела были по силам, хотя по сути им было, судя по всему, уже всё равно.

Я шёл, чуть ли не с ужасом осматриваясь по сторонам. Пересушенные морозом, сухарики глубоких следов лося хрустели по краям под ногой не хуже хвороста, а то и шибче.

Размеренная поступь лучше всего подходила для этого дня, ибо неосторожный, скорый ход сдирал кожу лесной подстилки с почвы, что очевидно ранило её, заставляло страдать непритворно, посему, не желая быть причиной её мучений, приходилось шагать едва ли не на цыпочках, притворяясь округе и себе самому невесомым.

Выйдя же из лесу, словно ступив за ворота погоста, я почувствовал временное облегчение. Можно было постараться убедить себя в том, что виденное только что – наваждение, и стоит только обернуться к чаще другим боком, как это делается обыкновенно для того, чтобы отогнать дурной сон, и лес делается прежним, живым, с бесконечной аллеей просеки до самой речки, что не видная глазу, повсегда угадывалась впереди.

Увы. Я понимал, что всё не так, и ровные ряды равных, поверженные единым врагом, временем, падут однажды, а сокрушаться на этот счёт, быть может, и нелеп... но иначе я не умел.

Упиваясь единственным из доступного, самым честным, – лишённым деятельного участия состраданием к нам всем, я возвращался домой, зарекаясь вдругорядь гулять по лесу в пасмурные дни, но понимал, что всё одно, – однажды не удержусь и отправлюсь туда вновь.

А в этот раз... лес-таки не был похож на лес.

Снегопад

Снегопад яростно вычёркивал осенний день, вымарывая само воспоминание об осени.

Охаживая округу, снег полонил её, кутал и наглаживал с надменной, высокомерной страстью полные ни с того, ни с сего формы, успевая приговаривать с плохо сдерживаемым придыханием:

– Во-от! Теперь уж видно, что округа, а то глядеть было совестно, так худа.

– Совсем нехороша? – Бледнела округа в ответ.

– Худа – это не плоха, дурёха! Это значит, что тоща! Не бойсь, выправим! Станешь полна, как та луна! – Смеялся снег, и прижав к себе крепко, пудрил белую пудрой и щёки округи, и нос, и неровный от частой нервности лоб.

Вскоре скрылись под одеялом сугробов все до единой канавы и овражки. Дабы не пугать птиц, ажурными шарфами занавесили худые рёбра ветвей, а для сосен снегопад расщедрился на палантины. Нахватав больше нужного, сосны, наряженные, ровно укутанные в платки дети, гляделись кочанами капусты.

К полудню об осени можно было бы вовсе не вспоминать,

коли б не пруды с реками. Те ни в какую не поддавались снегопаду. Ни его самонадеянность, ни упрямство, ни уговоры не могли убедить оставить всё осеннее в прошлом. Вода, с присущей ей несговорчивостью твердила, что ещё рано, и как не был бы щедр снегопад, умело и ловко стыдила его, заставляя темнеть лицом и теряться. Берега же оказались более покладисты, и, коли б ни были холодны, то иных тянуло бы прилечь на их пышные перины.

Снегопад торопился вычеркнуть осень. Белой краской, рыхлыми линиями по серому дню. Наискось. Крест накрест. Неужто не мог обождать? Неделю, много – две, и тогда бы уж точно пришёлся ко двору...

Настоящее

Ветер тихо стучал коклюшками уже вовсе озябшей и позимнему бесчувственной от того кроны ясеня с дубами. Плёл ветер не ради себя занять и не для чьей-либо красоты, но ткал он вручную полотно времени, что тянулось из прошлого в грядущее. Оглядеться по сторонам и присмотреться к тому, что теперь, к настоящему, у него не было ни сил, ни возможности, ни даже желания.

«К чему тратить душу на мимолётное? – Думал ветер, кивая головой в такт тому деревянному стуку. – Роняет переходящее свои капли в реку жизни, так что после и не разыскать, не понять, которая где. Иное дело – прошлое. Им можно располагать свободно, разглядеть истоки, истолковать в подробностях глубину и смысл, заранее предусмотреть мели с заметными едва, самыми малыми препятствиями. Хорошо и будущее. На него можно не жалеть красок, посулов и простора, а те пресловутые четыре стороны малы для него, как сутки для дня.

Касаемо ж настоящего... Оно будто алмаз, что бесцветен при дневном свете, и сияет, жонглируя отблеском граней напоследок, ввечеру. Настоящее также кажется мелко, приземлённо, банально, обыденно, ибо являет себя таким, каково

есть, – с едва заметной игрой полутонов, пронзённое чувством, которому надо уметь соответствовать, сопереживать, а, набравшись такта, как смелости – успеть уловить, распознать... Дабы было о чём мечтать и которое помнить.

Ветер всё ещё занимался рукоделием, а сверху, из-под занавешенного паутиной облаков потолка, на него глядел ястреб. Тот встречал с распростёртыми крылами своё настоящее, внимая ему, как драгоценному другу, который вот-вот покинет его навечно.

– Умеет же... – Завидовали птице иные.

– Умеет! – Восхищались им те, в ком несть места торопливости, которые также, как ястреб, встречают с распростёртыми объятиями то, с чем идёт к ним судьба.

Честное

Небо покрылось, будто трещинами, зияющей наготой кроны леса, лишённой листвы. От мороза ли, от времени, либо состаренное для красоты. – нам неведомо, но сделано то было с умом и большим вкусом. Это так, ежели глядеть на небо близко к лесу. А коли чуть отойти подальше, тут уж чудилось другое небо, – ровно ценный камень млечной белизны в серебряной оправе на белом бархате заснеженных полян и полей. Дорога же, что по обыкновению тягалась с бесконечной неопределённостью, гляделось как бы примятым оправой местом, – будто бы взял некто поглядеть ту драгоценность, да возвернул, но впопыхах положил не как было.

Мало цвета в рыхлом от снега осеннем дне, безутешно мало. Вместо увядших цветов на клумбах – букеты плюшевых бомбошек вылепленных метелью снежков.

Белый выдох прохожих, снежные слепки следов, дома, раскуривая трубки печей, пускают к облакам белоснежные ленты дыма. Очерченные белым калитки, побеленные снегом заборы... Округа бледна, как никогда, из яркого – лишь кавалеры снегирей, синицы с дятлами, да розовые, озябшие, носы и щёки.

– Вы любите зиму?

– Если по чести, не очень. Мне приятно мечтать о ней летом, прячась под серым подолом тени. Или улыбнуться, будто знакомцу, случайному сквозняку из приоткрытого ледника, когда нянька достаёт оттуда прошлогоднее клубничное варенье.

– Экий вы, не знал.

– На зиму хорошо глядеть из окошка, из тепла...

– Но признайтесь, разве не захватывает катание с горки, когда мороз из озорства щиплет за нос, а крошки льда изпод полозьев тают на щеках!

– Признаюсь! Славно!.. Вспоминать об этом, придвинув стул ближе печи, с чашкой крепкого чаю в руках.

– Да... С вами каши не сварить...

– Помилуйте! Не в моей воле лишать вас зимы! Радуйтесь её забавам, но не мешайте мне поминать добрым словом лето, и даже осень...

... Надвинув на брови горизонта траурный платок ночи, округа приготовилась скорбеть об дне, и оставленных в нём самоцветах... Но не в самом деле, а дабы создать видимость своего несчастья. На поверку же, – стоит только отвернуться, будет сдёрнут тот неразличимый во тьме плат, и в роскошном наряде, усыпанном звёздами, как честными алмантовыми камнями¹², округа примется кокетничать, жеманно по-

¹² алмазы

водить озябшими плечами, и близоруко прищутив глаз луны, разглядывать нечто, видимое ей одной...

Впасть в детство...

Впадать в детство... Это совсем необязательно терять себя во времени, то другое. Незадолго до своего семидесятипятилетия я почувствовал на собственной шкуре – как это и о чём .

Лето я провёл если не по-спартански, то как настоящий, заправский физкультурник. Вставал с постели, едва солнце тянуло загорелые руки раздвинуть занавески моего окна, легко завтракал кашей, одноименной созвездию северного неба¹³, и оседлав велосипед, спешил погрузиться в ещё прозрачные, но уже сильно заросшие рогозом и камышом воды Клязьмы.

Неторопливо, растягивая удовольствие, я заходил в воду. Лягушки, прикинув к листьям кувшинки, сочувственно взирали мне вслед, а разбуженные караси покусывали пальцы ног, принуждая меня наконец-таки пуститься вплавь.

После одного из таких заплывов, уже осенью, ближе к концу сентября, когда я, чувствуя приятное покалывание во всём теле переодевался в сухое, меня окликнул мужичок, судя по виду, ровесник, что прогуливался с дамой по берегу:

¹³ Геркулес, овсяные хлопья

– Эй, товарищ! Как водичка?

– Довольно холодная, но ничего, я привык.

– А сколько ж тебе лет? – Непонятно для чего спросил меня мужичок, и я ответил, как есть, на что получил злое, грубое и даже яростное «Брешешь!» в ответ.

Я пожал плечами, и взобравшись в седло, покрутил педали в направлении дома. За вечерним чаем я рассказал о том, что произошло сестре, и та расхохоталась:

– Во, дурень! Неужто ты не понял, отчего так рассвирепел тот мужик?

– Нет...

– Да ты только глянь на себя в зеркало!

– На что там смотреть... Красная морда, толстый.

– Какой же ты у меня... – Расстроилась сестрёнка. – За что ты так себя не любишь? Ты румяный, и стройный, и конечно не выглядишь на свой возраст, ну – никак!

Месяц спустя я вспоминал об этом разговоре с сестрой и едва не плакал. Однажды утром мне стало так нехорошо, что я упал прямо у порога дома. Сосед вызвал «Скорую», и теперь, вместо велосипеда, чтобы добраться из комнаты в кухню, я седлаю венский стул, ибо не решаюсь идти без поддержки. Прародитель гнутой фурнитуры¹⁴ знал толк в своём деле, и на всём пути от кровати до плиты я не чувствовал себя смешным, но более того – почти что всадником.

¹⁴ Michael Thonet (2 июля 1796 – 3 марта 1971)

В какой-то из моментов, усаживаясь перевести дух, я оглядел комнату и кажется понял, догадался, – что должен чувствовать ребёнок, который только-только учится ходить. Он думает, наверное, что ему нужно перехватиться руками за кровать, по стеночке до шкафа, немного передохнуть, чтобы осилить невысокий порожек... Бедные дети! Как им, оказывается, непросто!

Через пару дней, когда я переоценил свои силы или недооценил внезапно обосновавшуюся во мне немощь и решил идти в кухню сам по себе, оставив венского коня в стойле у изголовья, гречка, которая так аппетитно пахла, вся оказалась на полу, ну а заодно и я рядом с нею. Был бы у меня пёс, он бы помог с уборкой, а так... пришлось корячиться самому.

Как бы там ни было, мне теперь хорошо известно, что такое – впасть в детство. Это означает – сделаться беспомощным и зависимым. Только в детстве это проходит, вместе с ним самим, а в моём возрасте от этого избавляет только ... небытие...

Доброе

Снег и дождь шли, перебивая друг друга. Каждый норювил высказаться и стоять на своём во что бы то ни стало. Каждый считал собственную правоту единственно верной, и требовал, чтобы прочие думали также, как он.

Небо глядело вниз, впрочем, не снисходя до них, улябаясь кротко и просто. Кому, как не ему приходилось быть свидетелем многих подобных разногласий, и ведь именно в сей разногласице заключалась прелесть бытия, о которой твердили небеса во все века. Да только... кто и когда прислушивается к очевидному?

По всё время, покуда шагали по-над лесом спорщики, в тот же самый лес направлялся и я. Моему псу полюбились прогулки среди писанных самой природой декораций и оврагов, драпированных марлей снега. Так отчего бы я отказал ему в сей малости? Удовольствий, что мы умеем распознать, в жизни не великое множество, а уж на недлинном собачьем веку их и того меньше.

Не более, чем в пяти саженьях от кромки леса, молодой порослью трепетало на виду семейство косуль. С их, словно выросших в сугробы крутобоких тел, будто бы с горок, скатывался снег и роняли себя в снег ручьи воды.

Мой пёс был широк, но невысок, в отличие от меня он смотрел не по сторонам, а себе под ноги, так что ему было не разглядеть лесных козочек, я же стоял, любовался ими, сердечно смеясь, так милы и ладны были они.

Косули, нисколько не торопясь, даже слегка кокетничая, удалились в чащу леса. Пёс, продолжая распахивать носом сугроб междупутья, двинулся по тропинке, я, как верный оруженосец, следовал за ним, и тут... Из-за орешника показалась стройная ножка юной косули. Замешкавшись, она отстала от своих, и теперь не решалась выдать себя, но лишь следила с тоской за тем, как сливаясь с изгибами ветвей, тают вдали тени её родных.

Несмотря на глухоту, у моего пса имелся славный нюх, и устремившись к малышке, он не нарочно мог напугать её, из-за чего бедняжка потеряла бы из виду свою маму и заблудилась.

Я присел к собаке, обнял за шею, и развернул в сторону дома:

– Пойдём-ка, мой милый, ты я вижу замёрз. – Сказал я, по обыкновению, больше себе, чем ему. Пёс, что уже уловил запах страха юной косули, был до неприличия добр, и простив мне невольное лукавство, вильнул хвостом, да послуш-

но пошёл рядом, нарочно задевая мою ногу своей., а за нашими спинами малышка косуля мчалась во весь дух, догоняя своих.

К тому времени, снег с дождём то ли вовсе рассорились, то ли, напротив, договорились, но их обоих не было видно. В небе царила одна луна. Она прятала довольную улыбку за веером прозрачной ткани тумана, растянутом пятернёй кроны дуба, ровно на китовом усе. Так и мы, скрываем добрые дела от себя самих. А малы они или велики, – какая, собственно разница? Никакой!

До слёз...

Бесконечная ажурная кисея неба медленно сползает на-земь.

Сне-го-пад...

Косуля, откинув слегка его плотный полог, высовывается, словно в окошко, подогнув уголок занавески, вглядывается в глаза пристально, взыскует правды, думает громко:

– Ты чего тут?

– А нечто невозможно? – Дерзко отвечаю я.

– Смотря чего для. – Слегка витиевато упорствует косуля.

– Ды-к... Пройтись. Побеспокою?

– Ещё как! Разве больше нигде, кроме, как здесь?!

– Так лес же! Воздух! Грибы!

– Грибы, так-то, не для вас посажены, а воздух... – Негодует косуля. – Тут живут, вообще-то, если ты не знал. Любят, ссорятся, дети растут, старики горбятся, всё, как у вас, у людей. Мы ж к вам в дома не стучимся, по кухням в грязных сапогах не топчемся, угощений не требуем.

– Вообще-то, случается... – Смущённо возражаю я.

– Ты про птиц в зиму или про мышей?

– Ну.... – Я задумываюсь в нерешительности, но косуля торопится расставить всё по местам:

– Не станешь прикармливать синиц, они найдут себе, где столоваться, но тебе ж самому то по нраву, когда зависимы от тебя те вольные птицы, и что, сними ты их с довольствия, погибнут. А касаето мышей... тут ты, братец, сам виноват. Не зевай, следи за домом и порядком в нём, и будет тебе заместо мышиногo проса – чистота и паутина по углам.

В изумлении глядел я на косялю, не понимая, в самом ли деле тот разговор или почудился.

Фыркнув недовольно, так что просыпался чуб снега со лба, лесная козочка не спеша, с достоинством развернулась, дозволила полюбоваться отороченными белым мехом шароварами, и прыгнула в самую гущу снегопада, где потерялась, совершенно слившись с ним. Ещё одно совершенное творение природы. Так радостно глядеть на любое из них. До слёз.

Заурядное

Пятак луны плавит закатное небо, брызжет каплями звёзд. Прислушиваясь ко влажному хрусту, что идёт от земли, луна понимает его причину, но сочиняет себе иную. Не из-за привычки говорить неправду, но для отвлечения от монотонности бытия.

– И чем же сия монотонность вам не угодила, скажите на милость?

– Так скука, знаете ли, однообразие... Мало красок, интонаций, чувств-с...

– Чего ж вам надобно?! Трясущихся синих губ или белых от гнева глаз, либо, быть может, разгорячённых смущением щёк?

– Ну, так – всего понемногу!

– Зачем оно вам, милейший? Неужто пробуждение поутру от естественных причин так нехорошо? Сон покидает вас и остаётся в прошлом, вы открываете дверцу в окне, дышите морозным воздухом, потом делаете гимнастику по Мюллеру, обтираетесь полотенцем и идёте завтракать...

– Слов нет, насчёт этого согласен, конечно, к этому я привык!

– Ну, таки вот, а коли посреди ночи постучат вам в окошко, да попросят...

– Чего?!

– Да что угодно! Воды, хлеба, переночевать, – мало ли. Испугаетесь, поди.

– Не знаю. Может быть. Не уверен.

– А я вот полагаю, что жаждут чужого беспокойства, не собственного. Дабы со стороны поглядеть, что выйдет из того. Лишённый перемен день более, чем хорош! Он предсказуем в каждом своём проявлении и уютен, как тёплый домашний халат.

Слышите, как точит дерево дятел? Мы не видим его, но верно знаем, что стружки от дупла непременно летят в сугроб. А луна, что расплывается по небу жирным пятном облака... разве она нехороша?

– ...

– То то же. Довольно разговоров. Пойдёмте-ка пить скучный чёрный чай с колотым сахаром и булкой. Не слишком эдакое заурядно для вас?

– Отнюдь...

– Вот и славно.

Пятак луны плавит закатное небо, брызжет каплями звёзд, ровно кипящим жиром.

Только этим одним...

Бежит метель впереди паровоза, временами останавливается, дабы обождать. В спину ей – отставшие слегка снежинки. Оседают они на землю, запыхавшись, а метель им, – айда, за мной! Некогда, мол, прохлаждаться...

Смешно. Им, снежинкам, иначе-то и нельзя. Только прохлаждаясь не проводят они время в безделье. Их трудами нарядна округа зимой, худоба и ущербность сведены их же усилиями на нет. Всё ровно и гладко, а любой изъян – где его не отыскать, – глядится достоинством.

Тщится чёрный паровоз обогнать белое облако метели, отдувается горячо и важно. Снежинки, срываясь с подола ослеплённого собственным устремлением паровоза, впиваются в кожу щёк мелкими колючками, но те жарки чересчур, чтобы понять это, принять побуждение, как рану. И тогда летят те снежинки дальше, липнут к хрупким худым рукам трав, что выглядывают из засученных рукавов сугробов. Укрывая их, они делают одолжение, но больше себе, – кто станет разбирать красу снежинок в толпе? А так – каждая на самом виду.

То на суше, а подле воды... Качается незаметно у берега, с заметной укоризной крошево льда, торопится вслед за

ветром вода, переливается через край, а с нею выплёскивается на сушу и лёд. Лежит на мокром песочке, млеет, нежится на сквозняке, будто холит его морозцем. Обветренный, словно засахаривается... и пускай слижет его первым же лучом солнца, но покуда лёд здесь, он и жив, и счастлив. Только этим одним.

Вопросы и ответы

Округа растворяется в ночи. Дома в сугробах, как в овечьей шубе. Крыши все на пробор, и с восточной стороны стрижены на лысо, а с западной – просто очень коротко, щетина изморози, заодно и седы безвозвратно. Никаких тебе дамских шпилек сосулук и прочих приличных дамам убранств. Зеркала луж кои вдребезги, какие вдрабадан и в труху, в лихорадке тонкой наледи, но все до единого в рыхлой снежной пыли. Ибо – ни к чему любованье собой, лишнее.

Ветру, что попытался было прибрать немного, указали на дверь. Тот скрипнул поломанной им же веткой, ровно калиткой, и ушёл, куда глаза глядят.

Голые, трогательные от того ветви вишен, зацвели вдруг зеленоватыми почками, сделались похожи на вербу. Моргнётся и исчезнет видение, только как бы ни с чего раскачиваются озябшие прутики, растерявшие по осени всю листву. Стоишь, трясёшь головою, отгоняя наваждение, а из-за ворот меховой шубы сосны, что неподалёку, слышно сдержанный приличием хохот синичек. Звонкий, стеклянный, сам по себе смешной. Ах, проказницы... Удивили, старика.

– Когой-то, не расслышал я? Не то тебя?!

– Так сад! Старый он у нас, не всякий год цветёт, и плод приносит через раз, а рубить-то и жаль.

– Ты деревья пугал? Топором грозился?

– А то как же! И страшал, и топором по стволам стучал понарошку, всё зазря, не вняли. Да, ладно, пушай растут, и у людей не у всех детки, и у деревьев. Знать, судьба такая.

Округа растворяется в ночи, люди – во времени. Не от того ли всё временно, не в том ли постоянство всего сущего? И есть ли схожий с этими вопрос, на который отыщется один, на все времена, ответ...

Жаль

У всякого – своя жаль...

Автор

Совсем недавно был полдень, до вечера ещё далеко, а на улице уже темно и мрачно. Новогодние гирлянды, блеснув стеклянными глазками, потягиваются сонно в расписных коробках, зевают, вспоминая яркую прошлогоднюю жизнь. Так что веселье перепоручено электричке. Нарядной змейкой вьётся она по округе, будто по празднично украшенному дереву. И под барабанную дробь колёс о рельсы, убаюканные движением пассажиры улыбаются безотчётно и беседуют. Кто о чём.

Над дальними соседями топорщатся хохолки смешков, от них же сквозняк с платформы разносит по вагону выдохшийся наполовину дух одеколона. От ближних доносится запах обеда и тающей мойвы в бесстыдно, напоказ распахнутой сумке у ног.

Сдвинув ближе жаркие бока, те соседи, что ехали вместе на службу поутру, обмениваются новостями или дремлют, обменявшись улыбками. Прочие же, которые отчего-то не видались давно, рассказывают друг другу с того самого места, когда их ненадолго развела жизнь. Сперва, скороговор-

кой, о главном: что сын из армии вернулся... дочь замуж вышла... внук родился... и подробнее – о насущном:

– Жаль, вишен не случилось в этом году.

– Чего так?

– Вот, вроде, и зацвели весной, и шмели над ними славно так хлопотали, гудели во всю мочь. Завязались ягодки – одна к одной, веточки ровно зелёным бисером осыпало, уже и в погреб слазала, банки счесть – хватит ли на все ягоды, на варенье. А там, откуда ни возмись – мороз с ветром. Выхожу однажды утром, – земля каменная, покрыта несбывшимся моим компотом с вареньем, целый ковёр завязи, как из тонкой, ржавой проволоки. Стою и плачу, хотя банки бей.

– Жалко...

– Да вот тож.

– А банки бить не след, сгодятся ещё.

– Наверное... – Вздыхает попутчица, и на глазах её проступают ненарочные слёзы. Конец осени, почти уж зима, но несбывшееся тревожит её по сию пору. Не для себя хотела тех вишен, – для сына, дочери, для внука. Опять же – через улицу поселилась молодая семья из Снежного¹⁵, у них покуда пусто, так и их угостить. Всё ж своё, своим.

– Зато и жуков, как не бывало! – Перебивает её горькие думы соседка.

– Совсем?

¹⁵ Донецкая Народная Республика, город Снежное

– Не, ну как... Руками-то мы собирали каждый день, то правда, но не травили, как в прошлые годы.

– Яду пожалели? А чего?

– Не так, чтобы. Всё ж себе на стол, да и земле, матушке, надо от отравы отдохнуть маленько.

– Оно, может и надобно, но, дорогая моя, тут уж либо урожай и дом полная чаша, либо целый огород сытых жуков.

– Так мы их пивом поили, и пьяными после гребли. Промежду грядок в чаши разливали. – Едва ли не в полной, дробной тишине вагона звучит её ответ.

Улыбки расправляют морщины усталых пассажиров, а су-пруг рассказчицы, тот и вовсе хохочет, понарошку утирая усы от пенного, выпитого некогда за компанию с жуками. Хорошее было лето, жаль только, что скоро прошло.

По-людски

Лес чудился не чем иным, как коралловым рифом на морском дне. Облепивший его снег был назойлив без меры, навязывая свою волю, он принуждал деревья кланяться низко, так близко к подошедшей рыхлыми сугробами опаре земли, что уж и не бывает ближе. Только если в ней самой. С кустами снег не церемонился, с травой был и вовсе беспощаден. От неё не оставил он не то следов, но даже напоминания. Ещё вчера самые стойкие из трав держались на виду, в снегу по пояс, а то и по щиколотку, или тянулись к низкому от облаков небу на цыпочках пожухлых, изрезанных настоящим листьям, втянув худые животы стеблей. Седые головы трав кивали радушно и ветру, и проходящим мимо, но нынче... Сломлены, раздавлены, не сыскать уж их, поди...

Под снегом оказались погребены и звериные тропы, чья очевидность вселяла в лес надежду, наделяла радостью, служили свидетельством его обитаемости, делала уютным, наполненным жизнью, что вызывает к себе излишний, но неподдельный интерес и вредное, подчас, сострадание:

– Как они там, бедные, и в дождь и в стужу? Как же они там одни, без нас...

– Да уж ничего, вашими молитвами. – Вздыхал, слегка су-

тулясь, дуб, и сокрушённо качая головой.

То неспроста. Он хорошо помнил несчастный день, когда олениха, покормив своё новорождённое дитя, оставила его на попечении дуба, в траве рядом с ним. Дубок был тогда молод и гибок, землю мог разглядеть близко, намного ближе, чем теперь. И принесла же в ту пору нелёгкая в дубраву людей. Как увидели они оленёнка, запричитали, заохали, мол, бросила нерадивая мать своё дитяtko на произвол судьбы, на съедение волкам. Ну и завернули малыша в рубаху, да унесли. Уж как не тянул дубок свои ветки к людям, как не ронял сучки со щепочками им под ноги, как не молил оставить в покое беззащитное дитя, не поняли они его стенаний, порешили – ветер гонит непогоду, нужно спешить-поспешать, дитя утешать. Да всё по-своему, по-людски.

Видел дубок, как после пришла олениха-мать к опустевшей колыбели травы. Слышал рыдания её, видел слёзы горючие, что текли из карих её глаз.

Говорят, отнял-таки лесник того оленёнка у людей непутёвых-неумных, да только не смог он выпытать – куда малыша возвернуть. Ибо не каждому человеку лес глаза открывает, кажет пути свои, да перепутки. Кого за руку ведёт, а кого и кругами кружит подле самого дома.

Сказка сказке рознь. Этой не не достало доброго конца. Устроил лесник оленёнка в густой траве, подальше от дороги, с малой надеждой, что приведёт лес мать-олениху, куда надо. А сам махнул рукой, да ушёл к себе в сторожку с тяжёлым сердцем и надорванной болью душой.

...Снег. Сыплет и сыплет без конца. Коли по-людски, так выше меры, а по-своему, так и в самый раз. Не зря, видать, старается. Прячет подальше от глаз людских, – что там делается в лесу-то, как живётся, без пригляду человеческого, по собственной, значит, лесной воле.

СНЫ...

Я шёл по улице, и казалось, словно снег, изрытый копытцами дождя, весь в испарине, словно бы нездоров. По нему хотелось провести рукой, утолив его печаль и собственную потребность сострадать кому-либо, да остановить-таки, наконец, его рыдания.

К счастью, вполне осознавая губительность прикосновений, удавалось сдерживать свои порывы и отступить с покаянием о собственной несостоявшейся оплошности, в надежде, что ненадолго заглянет ветер, пошепчет над ушком ласково, подует тихонько, притушив боль, а заодно и само таяние, исчезновение снега.

Оно бы так и случилось в самом деле, коли б оттепель вновь и по обыкновению своему истолковала неверно собственное предназначение, и испортив дело, не принялась шагать в растоптанных, тёплых домашних туфлях по податливым, мягким, будто бы загодя изжёванным тропинкам.

Голубоватый снежный сок брызгал на стороны, смешивался со слякотью, заставляя прохожих брезгливо морщиться. Ибо та ещё докука – оттирать полы плаща с сапогами от присохшей грязи.

И ведь если бы только ущерб одежде, это ещё пол беды, так ещё простуда. Липнет она в эдакую погоду, не отпускает,

тянет за рукава, пачкая их заодно с прочим, жарко дышит в лицо, брызгая слюной... А отстранишься слегка, потянешься утереться – сочтёт невежей. Вот и терпишь, да после, отойдя за угол дома, принимаешься доставать платок, роняешь его от поспешности и неловкости в самую лужу...

Домой возвращаешься в нечистой одежде, с головною болью и першением в горле. Так что с чистою совестью можешь позабыть про всё, чем намеревался располагать наперёд, как минимум, на неделю, ибо с этой самой минуты тебя ожидает много тёплого питья, невовремя сон, больше похожий на забытьё, в котором ты решаешься-таки преградить путь от-тепели однажды, и кидаешься в снег, защищая его...

Падая, ты осознаёшь, что сам слишком горяч и кричишь от непоправимости происходящего, а просыпаешься мокрым, совершенно, с головы до пят. Тебя уверяют, что это хорошо, и переменяя на тебе бельё заодно с постелью, говорят, что вот именно теперь всё наладится и ты непременно пойдёшь на поправку. А ты вдруг отчего-то не соглашаешься, сердисься и даже плачешь.

Им, прочим, не понять, – из-за чего. Ты тщишься растолковать, что тебе жаль испорченного снега, но выходит бессвязно, и близкие списывают твои слёзы на слабость от болезни, и говорят с тобой, будто бы с ребёнком или того хуже – умалишённым. Ты злишься ещё пуще, посылаешь всех из комнаты прочь и собираешься больше никогда не спать,

дабы уморить себя, назло всем, но засыпаешь почти сразу.

Утром же чувствуешь, что почти совсем здоров, и уже можешь садиться в постели, а то встать и пройтись до окна. Только вот, как-то неловко увидеть наяву, что натворил во сне. Однако ты делаешь над собой усилие, и идёшь за своим приговором.

Пасмурный день приникает к оконному стеклу и заглядывает в комнату. Он слишком ярк для отвыкших от света глаз. Ты зажмуриваешься ему навстречу, а после приоткрываешь немного ресницы, и с облегчением, даже с нескрываемой радостью находишь истоптанный копытцами дождя снег на прежнем месте.

Как хорошо, что сны не всегда сбываются. Как прекрасно, что сны сбываются не всегда.

Снегопад

Чистили блюдо луны к празднику до серебряного блеска, до её сиятельства, да то ли не удержались, либо не удержали, но сделалась луна ущербна, как бы косенька, пришиблена слегка, с примятым боком. Так что в люди не выйти и на людях не показаться.

Сидит у себя луна в опочивальне, пьёт маленькими глотками давно остывший кофе, крошит белую булку голубям на окошко. Скушно ей, нечем себя занят. Когда ещё отломанное заживёт. Судя по прошлому – ждать долго, три недели с гаком. А до той поры, выставит к белому свету белую щёчку, спрятав ущерб под голубым платочком сумерек или под чёрным, ночи, в мелкий горох звёзд, да и ладно. Перетерпит, сколь надобно, а там уж опять красавица будет, круглолица-бела...

– Что ж снегу-то снова... Не думает отдыхать, не бережёт себя. Ходит и ходит.

– Да гляди, красотища какая! В лес идёшь будто на бал, все в белом! Конфетти снегопада, сосны в пушистой мишуре или в воланах широких юбок, рябина в серпантине. Тропки со стёжками ровные, будто отглажены-отутюжены, всё чисто выметено и прибрано, овраги расставлены плюшевыми ди-

ванами, пеньки пуфами... Шагаешь и в груди восторг клокочет, а слов не хватает, чтобы выказать, сколь радости в округе. Улыбка накрепко примерзает к губам. После зайдёшь в тепло, да так до ночи и не можешь перестать улыбаться, а ляжешь – едва заснёшь, потому – жаль расставаться с таким-то днём.

– А снег так и сыплет без остановки...

– То не снег, а луна крошит белую булку голубям через окошко.

Такие дела...

Было хорошо слышно, как мышь самозабвенно грызла под подоконником. Противу обыкновения, я был совершенно спокоен. Не стучал по раме кулаком в сердцах, не выговаривал сердито, призывая травоядное млекопитающее к мирному сосуществованию в виду друг друга, наотрез отвергая её притязания на моё жилище.

И тут... Я слышал это собственными ушами! – мышь принялась внятно сквернословить, ибо стена потеряла былую сговорчивость.

– Да, хозяева явно осуществили своё намерение возвести преграду промежду внешним миром и собственным логовом. – Угрюмо сообщила одна мышь другой.

– Они называют это домом.

– Какая разница, нам теперь туда не пробраться.

– А ежели чуть левее?

– Пробовала. Бесполезно. Там всё тоже, сетка. Металл нам не по зубам.

– Эх... Сколько мы там столовались... И как теперь? Нечто в лес податься...

– Оно, конечно, хотя и не так чтобы. А ту-то – да... – Принялась суетиться в расстройстве вторая мышь, но первая перебила её на полуслове:

– Но ежели рассудить, это всё равно не могло не закончиться когда-то. Спервоначала и вправду было раздолье, после немного похуже, а там и вовсе стало ничего не достать, ни до чего не дотянуться.

– Ну, так сами и виноваты, если что. Так же?

– Это да. Что есть, то есть. Помню, было дело, – что хочешь грызи: и тебе картошка, и морковка, и миска на полу – кот тамошний не жадный, делился, нас не обижал. Всё чинно-благородно. Пришли, пожевали, ушли, – хозяевам ущерба на копейку, а нам удовольствий на рубль. Да потом как-то всё наперекосяк пошло.

Сперва кто-то из наших замешкался, попался на глаза, мелькнул серой тенью понавдоль плинтуса. И это было бы ещё полбеды, хозяева могли б списать на то, что почудилось. Ну, а мы что? Понимаем! Раз такое дело и хозяева насторожились, притихли ненадолго, поостереглись ходить. вроде как передышку сделали.

Дальше-больше. День ходим, день переживаем, но тут малышня, будь она здорова, проведала про хлебное местечко, да расшатала однажды в ночи норку, проникла в кухню, и такой устроила тарарам, стыдно сделалось, что нашего они

роду-племени.

– Что ж там такого произошло?

– Этим недорослям мало показалось хлебных крошек на полу и картошки под лавкой, – полезли на стол, погрызли свечу и мыло, а уж сколь наследили... даже в сковороду умудрились пробраться, и там напачкали.

– Вот, правду говорят, никудышняя молодёжь пошла. Никакого понятия о чести и совести. Хотя... вполне себе мышиное поведение.

– Ну, это кому как. В общем, с тех-то пор и закончилось наше веселье. Ни в дверь шмыгнуть, ни под окошко. Это, в которое не прошли только что, было последним.

– Ничего не попишешь, придётся идти к соседу.

– Да, это сколько угодно, хотя сейчас. Только у него, пусть и не заперто, накурено очень, и, кроме чёрствой корки под кроватью, поживиться особо нечем.

– Голодует мужик?

– Да нет, жалеет денег на закуску, а так не бедствует.

...Мышь внятно сквернословила. Вы не слышали? А мне довелось. Переняла, видно, от людей, научилась плохому. Вот, такие вот дела.

Станция Графская

Станция Графская

Николаевской железной дороги,

год основания 1868

– Представляешь, я наконец-то смогла побывать в том музее, про который говорила тебе, что на вокзале. Там чудесно... Даже волшебно!

– Он уже работает?

– Да. Впрочем, музей был закрыт.

– А как же ты туда попала? Через окошко подглядела?

– Нет, что ты! На них плотные, роскошные гардины, через них ничего не увидеть. Для меня просто открыли музей.

– Как?!

– Ну... так! Ключом!

– Подожди. Давай, сначала. Ты была на вокзале...

– Да! Дай, лучше сама всё расскажу!

Шёл мелкий, незаметный почти снег, больше похожий на дождь. Он не украшал собой округу, приписывая ей несуществующие достоинства и скрывая даже серьёзные недостатки, но более того, – с упорством, достойным иного применения портил дело своих предшественников.

Снежная каша дороги неприятно чавкала под ногами, и как ни хотелось заставить её вести себя прилично и жевать с закрытым ртом, – увы, до мороза не было надежды на то, что она одумается. Ноги скользили, одежда набухла от воды...

Загаданная наперёд прогулка уже не казалась такой заманчивой, и я огляделась по сторонам, чтобы понять, где могу переждать три четверти часа до поезда, что обещал доставить меня в ту самую глушь, из которой вывез час тому назад. Ничего подходящего не находилось, кроме здания вокзала, в котором оказалось на удивление тихо, уютно, тепло и пусто.

Четверть века тому назад, в помещении по соседству с залом ожидания размещался станционный буфет. Витрины его ломились от закусок, тучные девицы в кружевных кокошниках, понимая всё и обо всех, тем не менее источали благодушие, да подкармливали серьёзного, обстоятельного пса, что с раннего утра и до закрытия буфета отплясывал на задних лапах перед посетителями, зарабатывая себе пропитание.

Теперь же, подле дверей бывшего буфета, вместо духа провизии, что рассеялся давно, витал лёгкий запах масляной краски, а на заснеженном пороге не было уже заметно следов милого, трогательного пса. Вместо того, стену у входа украшала массивная мраморная табличка, гласившая, что данное помещение признано историческим памятником, а охраня-

ется не железнодорожным сторожем с колотушкой в руке, но государством, и теперь здесь располагается не что иное, как музей.

Не сомневаясь ни мгновения, я ухватила за ручку двери и потянула на себя, ожидая вновь ощутить знакомую лёгкость массивной, в половину высоты стены, створки. Увы. Дверь не поддавалась.

Железнодорожный служащий, что проходил мимо, с приятной улыбкой сообщил, что попасть внутрь можно только в сопровождении экскурсовода.

– Но это же музей!!! – Воскликнула я с неподдельным, искренним, воистину детским восторгом, и служащий, с уважением в голосе, предложил обождать минутку:

– Сейчас, я скоро, для вас отопру.

...Этот старинный вокзал был пуст лишь на первый взгляд. На удобных деревянных скамьях в центре зала сидели молодые дамы и девицы. Некоторые грели руки в меховых муфтах, иные – о стаканы с чаем из медного самовара, что пытел тут же, за дубовой стойкой буфета.

– Любезный, вы только, пожалуйста, не плесните сырой воды... – Искательно просили кавалеры буфетчика. А тот улыбался, но подливал исподтишка в стаканы холодной.

Телеграфист бездельничал у аппарата в своей уютной будочке, но делал вид, что страшно занят, а сам поглядывал на

одну из девиц, придумывая повод обратиться к ней, или хотя бы выпытать исподволь, бывает ли она на катке или увидит ли он её на балу, что непременно состоится на Рождество...

– Вы ещё здесь? – Железнодорожный служащий вывел меня из забвения, а ведь только-только дошёл черёд до начальника станции, мне хотелось расспросить его о многом... – Простите, но я не могу оставить дверь незапертой... – С неподдельным раскаянием проговорил служащий. – Осторожнее, порог скользкий, я ещё не успел припудрить его песком. – Заботливо предостерёг меня он у выхода.

С сожалением о том времени, потерянном напрасно, и благодарностью за возможность ощутить его, примерить на себя, я присела в книксен. И, ей-ей, это не выглядело неуместным. Тому, кто смотрит в душу, неважен твой наряд.

Привычное прикосновение к форменной фуражке и лёгкая мечтательная улыбка были мне ответом. А пожелание доброго пути вослед, прозвучало будто-бы из-под запертой на ключ двери старинной залы вокзала...

Станция Графская

Николаевской железной дороги, 1868

– 2023 год, третье декабря, воскресенье

Не могло быть иначе...

– Ждёшь?

– Жду. Ты же знаешь, какими бывают мальчишки. Сколько б им ни было лет, а всё строят из себя.

– Ну, ды-к!

– Ничего?

– Да я тебя не тороплю!

– А собака?

– Ну, ты ж видишь. Ей интересно.

– Ага! Знакомый запах сгустился и воплотился в видение.

– Так вы виделись уже, и даже неоднократно, прошлой-то зимой.

– Ой, да когда это было! Она и не помнит.

– Может и так.

Оставив, наконец, жевать приготовленную специально для него морковку, брат косули дробно взбрыкнул сугробом. Задираясь нежно, по-братски, кинул в сестру щепоть снежинок, как мелких алмазов или же горсть распавшейся на капли аквамарина воды, и с криком «Догоня-я-яй!» убежал в лес.

Косуля, воздев невидные брови к потолку неба, извинилась тем за родственника, прошептала несколько высокомерно, но вместе с тем любовно: «Ох, уж эти мальчишки...».

после чего последовала за ним, переваливаясь, ровно утка либо, что вернее, несколько по-верблюжьи, приводя в волнение сугроб пышного крупа.

Я помахал ей на прощание рукой, и потрепав собаку промеж ушей, пошёл в дом.

Облака, что с рассвета пучило снегом, не смогли удержаться дольше, чихнули и припустились за лесными козочками, оставляя за собой широкую, неохватную взглядом, прозрачную до земли, сероватую от того полосу.

А ввечеру... Собака, вздрагивая во сне, часто, с присвистом, дышала и перебирала лапами, задевая стену. Судя по всему, ей почти удалось нагнать косулю, но в последний момент она сбавила ход, затем остановилась и принялась вертеть хвостом. У неё хватало духу подойти ближе, но захватило дух от такой естественной, ничем не испорченной красоты! Иначе и быть не могло.

Маленькие радости

Не бывает в жизни маленьких радостей, они все большие, просто их стоит разглядывать через увеличительное стекло, сквозь лупу благодарности своего появления на свет.

До поры до времени должно восхищаться всем и должно восхищать всё, каждое проявление жизни, в прямом смысле слова: пробуждение, голод, пыльный запах снега и сладкий – цветов, томление зноя, нега речной воды на рассвете, озноб после невовремя сна. А также и вздох. Всякий! Счастливый и горестный, восторга и просто так, когда требуется перевести дух.

Человек обязан уметь не пройти мимо тонкого следа, протоптанного строем муравьёв на песке и похожего, что прочертил моллюск на речном дне. Поддаться обаянию бытия и всем его искушениям, среди которых – невозможность удержаться подставить лицо дуновению ветра или руку – течению воды, также, как иным невинным и бесконечным радостям жизни.

Среди прочих, – как же без того, – разглядеть едва видимые следы зайца на заветренном снегу. Скромные, неглубокие, нежные, они будто чудятся, ибо заяц не ставит себя наперёд других, в лесу есть особы и повесомее. Улыбаясь кротко он

пробегаёт мимо со словами: «Я не побеспокою, я только на минуточку, вы мне не мешаете...» – но тут же, под изумлённым взглядом дубов, протискивается промеж кустом и прижавшим его к земле сугробом, оставляя после себя зияющие наготой тонкие ветки, да изрядно попорченные очертания старательно наметённой ветром кучи снега.

Это ли не радость – подметить это сё?

...

– Так-таки и нее бывает в жизни маленьких радостей?

– Есть те, до которых мы не доросли.

Так...

- Забели молочком-то, чаёк! Не дело девице крепкое пить.
- Так тож не вино, баушка.
- Я тебе! Ишь, заговорила! Нешто взрослая стала?! Имей приличия! Цвет лица портится от крепкого чаю.
- Подумаешь! Я и так не красавица.
- А то не тебе судить. Ходи, с чем дадено, не порти зазря, невелика ноша-то, облик свой блюсти, как следует.

По сию пору, наливая себе крепкого, неженатого чаю, мне делается неудобно перед бабушкой, из-за того, что не слушаюсь, порчу неказистое своё обличье, не берегу его. Давно уж нет моей милой старушки на свете, а наставлениями своими сумела она загодя расставить всю жизнь по местам, от начала и до самого конца.

Отчего мы не слышим вовремя сказанных слов? В тот самый час, когда они кстати, отмахиваемся от заключённой в них правды, словно от мухи или комариного фальцета.

Говорят, ты скорее примешь то, с чем уже свыкся. Это также, как в скопище многолюдья выискиваешь знакомого, и устремляешься к нему, не замечая, что проходишь мимо интересных, быть может, куда как более приятных, но неведомых.

мых тебе людей. Так и писанное, и сказанное принимается не сразу, а по мере того, как делаешься способным его понять. И только тогда открываются истины, одна за одной, часто в пустой след.

– Ну, как же мне раньше-то про это никто не сказал!.. – Сокрушаешься ты, досадуешь на родню и друзей, покуда не вспоминаешь про то, что было уже говорено, и не раз. Да только не умел ты услышать тех наставлений...

«Имеющий уши...?»¹⁶ Воистину, это так.

¹⁶ Евангелие от Матфея 13, стих 9 (13:9)

Дождевая вода

Жара в самом деле стояла, на видном отовсюду месте дня. Самовлюблённая, она навязывала своё общество всякому, и не позволяя уйти, изнуряла подолгу. Длинные арки домов, и те оказались бессильны перед нею. Сквозняк, что по всё время обитал в их сыроватых, пахнущих кошками рукавах, истомившись на виду солнца, был вял, как прочие, и исходил жаром, ровно надкушенная спелая груша – соком.

Всё устремлялось спрятаться в тени. Казалось, самоё тень предпочла бы уединиться где-то на глубине колодца, вблизи воды и в виду хорошо видимых оттуда звёзд.

И вот в эдакую-то пору, мы с ребятами отправились в поход. Конечно, ежели б мы не договаривались заранее, не отпрашивались у родителей, не справились бы наперёд с кучей домашних дел, только чтобы нам позволили идти, мы б нынче делали только то, на что действительно хватало сил – сидели по шею в реке, не мешая солнцу выбеливать наши, и без того светлые, макушки.

Но, как говорится, – уговор дороже денег, и выложив из вещевого мешка почти всё, дабы не плестись в хвосте, вынуждая остальных замедлять шаг или того хуже – нести мои вещи, я отправился к месту сбора в школьном дворе.

Когда я туда добрёл, то щёки мои пылали, соревнуясь яркостью с пионерским галстуком, что, тем не менее, не дало мне оснований пренебречь обыкновением салютовать гипсовому пионеру подле ворот. Тот же, так почудилось, фило-нил впервые в жизни, и не ответил, но лишь покосился на стоящего рядом, такого же бледного гипсового горниста.

– И ведь, хоть бы им что... – Пробормотал я, присоединяясь к группе сморённых зноем, поджидающих меня товарищей. Так вышло, что я пришёл последним.

Вожатый пересчитал нас больше для порядка, чем по необходимости, скомандовал строиться, после чего мы двинулись в путь.

От школы до леса было пять трамвайных остановок, целых две версты, но и это расстояние мы решили преодолеть пешком. Светило тщилося прожечь оконные стёкла, а заодно прожигало взглядом и нас, проверяя на прочность, так что, когда под ногами, вместо плавленого солнцем асфальта оказалась упругая, покрытая рыжими сосновыми иглами тропинка, идти стало легче.

Шагали мы дружно, как и полагается пионерам, но лишь к полудню добрались до сторожки лесника, рядом с которой, на наше счастье, скрипел сухим ведром в клюве одноногий

журавель. Не скрывая надежд напиться от пуза, так, чтобы булькала в нём холодная вода, а заодно и смочить пилотки, мы обступили вожатого. Покуда тот ловко управлялся с рычагом, мы, предвкушая первый, самый вкусный глоток сладкой колодезной воды, облизывали пересохшие губы и стирали мелкую соль со щёк. Девчонки держались рядом с вожатым, чтобы напиться первыми. И тут...

– Я пить не буду! – Осипшим от жажды голосом сказала одна из них. Услышав кощунственные об эту пору речи, мы подошли ближе.

Из ведра, улыбаясь беззубо, как младенец, на нас доверчиво глядел лягушонок.

Отвергнув с негодованием предложение вожатого пригубить-таки из ведра, изловив перед тем лягушонка, мы пошлагали дальше. Вылить воду на землю не решился никто.

К концу двухдневного похода, когда мы уже казались себе бывалыми путешественниками, то не брезговали даже водой из лужи, процеженной через платок, и попадись теперь на нашем пути хотя ещё один журавель с сидящим в ведре лягушонком, мы б его расцеловали наверняка, во все его зелёные щёки.

...Как мы были юны и неопытны тогда, и не знали того, что жизнь предоставляет человеку много возможностей, но

по одному за раз, а коли упустишь, не разглядишь в случае судьбы, не ответишь на улыбку лягушонка улыбкой, не останется ничего, как цедить мутную дождевую воду через вымоченный своими слезами платок.

Итальянцы

Я чищу картошку. В перчатках, специальным итальянским ножиком, выуженным в авоське

ГУМа тридцать лет назад. Звёздочка слива раковины нежится под тёплой водой из крана, а я гляжу рассеянно на этот узор и вспоминаю, как, страшно сказать, пол века тому назад чистила картошку с берега Большого Заяцкого острова, омываемого волнами холодного и прозрачного от того Белого моря.

Дважды в день, с чёрным от копоти алюминиевым котелком, доверху наполненным картошкой, и косым самодельным сапожным ножиком, выпрошенным на время экспедиции у деда, меня отправляли на берег, в портомойню¹⁷, устроенную между мелководьем и причалом, где мыльными водорослями, фукусом¹⁸, мы оттирали вместо белья, – миски после обеда и ужина.

Картофель не желал расставаться со своею кожурой и тарщился на меня многочисленными глазками, но дело, тем не менее, продвигалось. Я трудилась со тщанием, и подол-

¹⁷ место на берегу, приспособленное для полоскания белья

¹⁸ (лат.) *Fucus vesiculosus*

гу от того. Конечно, из меня выходил никудышный, нерасторопный поварёнок. Впрочем, никто не подгонял, не стоял над душой. Все были заняты своим, и от того-то я часто откладывала в сторону ножик, и наблюдала за тем, как возятся со своими малышами гагары. А после, как мой надзор начал тревожить птиц, отогнав стайку вездесущей, любопытной наваги, подбирала из под воды полюбившуюся морскую звёздочку. Она всякий день поджидала меня на одном и том же месте, и не торопилась скрыться в глубине, но напротив – охотно забиралась на руку и щекотала ладошку своими маленькими пальчиками. Иногда я пристраивала звёздочку себе на рубашку, – там она лежала тихонько, и кажется прислушивалась к биению моего сердца.

Как-то раз, кто-то из взрослых, застав меня с морской звездой на груди, спросил:

– Нравится?

Я счастливо заулыбалась:

– Очень!

– Ну, так, давай, засушим! Увезёшь с собой домой. На память!

Помню собственный ужас и овладевшее мной неприятие к тому человеку. Дабы не случилось непоправимого, я прикрыла звёздочку обеими руками, и не сказавшись никому, убежала на другой конец острова, где сидела до заката, ба-

юкая свою милую подружку. А когда солнце, ломтиком лимона, съехало наполовину по стеклянному краю горизонта в море, туда же по пояс зашла и я, где выпустила звёздочку, нежно погладив её перед тем на прощание.

... В резиновых перчатках, специальным итальянским ножиком я счищаю с картофелин кожуру. По-прежнему тщательно и неторопливо. Когда занимаешься чем-то простым и привычным, можно подумать о том, на что не хватает времени или вспомнить кого-то, кто наверняка позабыл о тебе.

Морская звезда, точный ея портрет из серебра, устроился на моей рубашке, дремлет мирно, прислушиваясь к биению сердца. Знакомый ювелир, итальянец, что звал некогда с собой на берега Тихого с Индийским, сделал эту звёздочку, в память о ней, как о себе.

Льнут они ко мне отчего-то, эти итальянцы, сама не знаю – почему, но льнут...

Хорошее

Мы с ребятами вышли гулять во двор, и первым делом решили попробовать, каковы нынче снежинки на вкус, но тут, совершенно неожиданно для себя заметили, как, увора-чиваясь от белых хлопьев, лавируя между ними, галсами лета-ла мошка. Судя по запаху, погода была довольно тёплой, но снег, вырвавшийся из прорехи перины небосвода, служил свидетельством того, что теперь зима, а об эту пору не долж-но находится в видимом взору просторе ничему, что меньше снежинки и скромнее её по весу. Впрочем, однажды уверо-вав взгляду, трудно спорить с ним.

Однако ж, наперекор времени года и вопреки стороннему мнению, мошка была тут, и уверенно двигалась в известную ей, загодя избранную сторону.

Нам же, вознамерившимся предаться банальному зимне-му увеселению, а именно – игре в снежки, сделалось инте-ресно, куда направляется та мошка, и отставив снежный бой ненадолго или даже до следующего дня, мы решили следо-вать за ней.

Впрочем, дело оказалось непростым. Будучи в один ран-жир со снежинками, мошка умело избежала не только наше-го преследования, но интереса синиц, которым её явление

казалось сродни одному из чудес зимы.

В детстве мы почти все новенькие, непорченные чтением в сумерках или с фонариком под одеялом, а посему, общими усилиями нам удалось разглядеть и нагнать мошку, что, на самом деле, летела без опаски на самом виду.

Как оказалось, целью её полёта был наш вишневый сад. Увечные, больные его деревья, охотно росли вширь и ввысь, даже цвели красиво, но ягод не давали. Заневестившись весной, вишни делались слишком заносчивы, а их дядьки, – холодный ветер с последними заморозками, отгоняли всех кавалеров. После, конечно, деревья кусали собственные занозистые локти, отчего ранились, истекая смолой, до которой мы, ребяташки, были большие охотники.

К нашему изумлению, не одних нас тянуло лизнуть потёки вишнёвой смолы. Мошка, присев наконец на дерево, принялась уплетать за обе щёки слегка размокшую от снега розовую каплю. Ясное дело, мы тоже не удержались полакомиться, и какое-то время пировали рядом с мошкой.

Наслаждаясь понятным едва вишнёвым ароматом, мы не заметили, как мошка насытилась и затерявшись среди снежинок, улетела куда-то к себе.

По дороге домой нам не болталось по обыкновению, мы молча улыбались чему-то, каждый – о своём, и все об одном

и том же. А об весне ли, вишнёвом варенье или ещё о чём, –
какая, в самом деле, разница. Самое главное – о хорошем,
ведь самое важное – хорошо.

Не без того...

Шаркая по небу стоптанными тапками, идёт снег. С вечера до утра он ходил тихо, совсем неслышно, так, что казалось. будто бы уши заложило ватой, а вот с рассвета он перестал опасаться потревожить своею неосторожной поступью. Роняет снегопад на землю крошки белого, приставшие к шейному платку во время обеда, пушинки из подкладки, изорванные в мелкие клочья записки и ненужные давно счета, заваливавшиеся на дне карманов. Сколько ж там у него всего, у снега?.. А сколь там всего у нас, у каждого?

Снег рассеяно глядит перед собой, и думает о своём. Ему неважно, кто и что делает подле, да про что говорит. Ему нужно не позабыть своего, и повторяя про себя многократно, дотерпеть, доискаться чистого листа бумаги, и ухватив до белых пальцев перо, писать... писать... писать. Дабы мысль, – скользкая, юркая, промелькнувшая мимо мышью или жухлым листом через дорогу, на виду у всех, не ушла бесследно, но осталась здесь, им одним понятая, явленная от его имени, сказанная его устами.

Усерден снегопад. Обволакивая, укутывая тесно стволы дубов ватой сугробов, плохо справляется он с черепашьими панцирем сосен, но отводит душу на лапнике, – гнёт его

книзу, терзает, тщится заломать, чтобы до смолы, словно до крови.

Под гнётом снегопада позабыты давно и подлунное сияние глазури наста, и полдневная лазурь небес. Кругом бело, словно пролитое на округу молоко.

Разложит снегопад чистый лист поверх исписанного, и строчит, строчит. Слышно только шуршание то ли бумаги, то ли пера по ней.

– Вы ж недавно упоминали нечто про шарканье...

– Ну, так и шуршит, и шаркает снегопад, не без того.

Приглашение на чай или отЧАЯнная церемония

(ироническая повесть)

- Много лет тому назад...
- Это сколько же?
- Лет десять.
- Так это немного!
- По меркам вечности – конечно, но по человеческим...
- Да и по человеческим тоже не очень.

Пока собирается с духом вода...

Покуда вода ещё недостаточно горяча, чтобы приступить к церемонии, постараюсь припомнить, с чего всё началось. И, ну разумеется! – с библиотеки.

Сын милой Олечки, что феей парила в стенах районной библиотеки, между стеллажей и читателей, казался похожим на доброго гнома. Впрочем, сия доброта не мешала ему совершать массу нелепых поступков, на которые было забавно глядеть со стороны, но быть их непосредственным участником... Нет уж, увольте! На все предложения гнома поучаствовать в его прожектах, я неизменно отвечал отказом. Облечённые в уклончивую форму, коих немало в русском языке, они позволяли сохранить и приличия, и приятельские отношения. Но однажды я-таки попался в расставленные гномом сети.

Ссылаясь на крайнюю занятость, я оценил своё участие в осуществлении очередной мечты гнома столь высоко, что не сомневался в отказе. И просчитался.

Делать нечего, я согласился взяться за дело, но не поступаясь своею дотошностью. А так как речь шла о спекуляции на чае, то заявил, что не начну дела, покуда не испробую все сорта, кои будут поставляться прямо из Китая, с целью по-

лучить барыш.

Недолго раздумывая, гном уважил мою прихоть, по привычке причислив её к достоинствам, и, спустя время, необходимое для того, чтобы доставить малую толику чайных трав, снабдил меня заваркой, каждого вида – по щепоти, достаточной для трёх осознанных и вдумчивых чаепитий.

Перед чайной церемонией листы обнюхивались, рассматривались даже под микроскопом, ну, а что из этого вышло...

Приглашение на чай

Несомненно, чай – напиток популярный, но мало кто умеет пить его правильно. Да и как распознать, какой способ заварки чая верен именно для вас? А уж какой чай выбрать..! Давно канули в Лету времена, когда на прилавках был скромный выбор мелких чаев. Говаривали, что их не просто упаковывали в бледные бумажные кубики пакетов, но сметали туда непременно вениками. Впрочем, мы не ручаемся, – навет сей слух или описание производственного процесса. Чай-то, тем не менее, пили все!

Кто заваривал покрепче и выпивал чашка за чашкой, не доливая кипятку, в накладку и в прикуску, или "голеньким", то есть без ничего. Некоторым было довольно лишь подкрасить воду несколькими каплями чайного настоя... "Номер 36" пользовался особенной популярностью, ибо именно только его чаще всего и можно было купить. Реже "выбрасывали" "Номер 72". Добыть индийский чай в картонной жёлтой коробке считалось большой удачей. "Бодрость", – московской чаеразвесочной фабрики, был хорошим подарком ко дню рождения или равновеликим обменом на металлическую "вечную" (ртутную) пломбу в благодарность зубному врачу. А шанс заполучить круглую большую банку крупнолистового настоящего, из Индии, чая, с запаянным жестью

верхом и плотной полой крышкой, – было сродни чуду. Нынче всё немного иначе.

Эполеты этикеток, коробки в виде сундучков и девичьих башен, сморщенные чайные листья всевозможных сортов и расцветок... Глаза разбегаются! Что выбрать? Какой чай подойдёт для завтрака, а глотком которого лучше всего проводить уставший день? Невозможно перепробовать всё, да и нет в том нужды. При выборе нового блюда или напитка мы довольно часто ориентируемся на мнение друзей. Нам не всегда нравится то, что привлекает других, чаще приходится просто ставить "галочку" в сознании: "Ага, есть и такое!" Но сравнить своё восприятие со сторонним всегда интересно.

Итак! На страницах нашего журнала мы будем рассказывать о своих впечатлениях в процессе чаепития. Оговоримся сразу: тестирующий предвзят! Более того, он большой любитель не чая, а кофе. Усугубляя характеристику экспериментатора, сообщаем, что он – представитель клана занудствующих эстетов. Принципиально не употреблял НИКАКОГО чая с 31 июля 2009 года, а вот для нас сделал исключение и будет пробовать разные виды. Каждому сорту – свой день! Он будет пить, а вы станете читать и прикидывать, – стоит ли данный тип чая Вашего внимания, денег и, самое главное, – времени, которое и есть наша главная ценность. Жизнь должна сопровождаться исключительно приятными сердцу

событиями и процессами! Тратить её на чай, который заставит отЧАЯться... А оно вам надо?!

День первый.

Ну, что ж. Начнём, пожалуй!

Предъявленные виды чая лежат передо мной небольшим свёртком. Много-много пакетиков по десять граммов. На каждом – надпись. Китайские наименования чая в русском изложении звучат забавно. Некое "птичье" имя чая настраивает на нетривиальную волну. Испытываешь лёгкое волнение. И от того, что впервые за семь (!) лет я буду пить чай, и потому, что музыка, ритм, алгоритм наименования того чая, которому посчастливится быть нашим ПЕРВЫМ КИТАЙСКИМ ЧАЕМ, станет первым камнем, брошенным в море наименований и сортов. И от того, каким окажется наше первое впечатление, зависит, – сколь кругов предстоит нам перечесть.

Накануне дня начала чайного марафона, пришлось побегать по друзьям-приятелям, дабы воскресить, оживить и пополнить знания о способе заварки настоящего китайского чая. Это ж вам не абы как! Сполоснуть кипятком чайник, дабы его прогреть, а после – ложку заварки на чайник, а количество прочих, по числу планируемых сотрапезников, – это оно всё неплохо, но для чаю чисто русского, купеческого. Чёрного, как дёготь. Крепкого, как слово честного человека. А тут – дело зыбкое, тонкое.

Друзья активно советовали попробовать некий УЛУН, особенные виды которого будоражат кровь не хуже сорокапятиградусной "Сибирской". Тяпнешь, мол, с утра, глаза сразу на распашку и крутишься, как заведённый, весь день, без усталости...

Оно, несомненно, заманчиво, испытать прилив бодрости, не утомляя организм утилизацией спиртов, но в таком случае не будет чистоты эксперимента! Наша задача – описать впечатление о чае человека неискушенного и несведущего. Не настроенного на ощущения особого свойства.

Сообразуясь с данными обстоятельствами, мы решили вооружиться случаем, как главным инструментом эксперимента, и, закрыв глаза, нащупали среди десятка совершенно одинаковых, единственно возможным ПЕРВЫЙ ЧАЙ для первого дня испытаний.

Зелёный чай Моли Хуа. Прозрачный пакетик, очутившийся в руке, не давал простору воображению: чёрно-зелёные лепестки довольно крупного чая соседствовали с бутонами неких цветов, схожих по виду с засыхающими цветками ландыша. На первый взгляд – ничего особенного. Чай с мусором! Открываем пакетик...нюхаем... заглядываем вовнутрь... Пахнет чем-то знакомым, к тому ж, в пакетике обнаруживаются сморщенные бутоны иных цветов. Они

похожи на игрушечные хризантемы... Но,— пора готовить и сам чай.

Само собой, под рукой не оказалось ни фарфорового чайничка, ни чашек,— только "неубиваемая" чашка коричневого лягушачьего стекла, да электрический чайник. Ну, что ж, ежели войдём во вкус, приобретём непременно, а куда обойдёмся тем, что есть. Нагреваем воду примерно до 85 градусов, берём крошечную ложечку чая из пакетика... По привычке, выработанной годами употребления в пищу чёрного чая, споласкиваем горячей водой саму чашку, а лишь потом насыпаем туда Моли Хуа, который заливаем той же горячей водой примерно на треть (сто миллилитров — уточняем для педантов и аккуратистов всех мастей!), накрываем салатной тарелкой вверх и ждём положенные двадцать минут. Вы ждёте меньше или дольше?! Ну, как будет угодно!

В нашем случае, за 20 минут листья чая приобрели свежий, а не сваренный вид, часть бутонов слегка надула губы, некоторые их фрагменты отделились и приклеились к боковой поверхности чашки, став похожими на улиток, ползающих по стенка аквариума... И,— внимательно рассматривая, что вылупилось из этого китайского Моли Хуа чая, делаем первый глоток...

Ну, вот вам — семь лет без чая...гм. Ну, что же. Пер-

вое мгновение разочаровало. Если бы не эксперимент, то, не дрогнув, взмахнула бы рукой, с зажатой в ней чашке в сторону раковины. Но... Уговор дороже денег!.. Первое впечатление о чае Моли Хуа – вода, в которой мыли лимоны, причём делали это довольно давно. Так давно, что и воспоминание о сём процессе успело выветриться. Да оно и улетучилось практически! Но не всё! Второй глоток чая был не таким удручающим. Обезоруженное первым впечатлением восприятие, позволило отыскать в настое знакомые нотки семян лимонника. Его душистое масло, наполненное всеми ароматами, которыми способен поделиться таёжный край, наполняет силой и дарит бодрость... Но в чае Моли Хуа лимонника нет, вроде бы! Порадовавшись тому обстоятельству, что первый блин – первой заварке зелёного чая, в противовес поговорке, никак не выйти комом, утвердившись в своём мнении о том, что чай Моли Хуа напоминает по вкусу семена лимонника из тайги вблизи Ханты-Мансийска, мы наполнили чашку водой заданной температуры во второй раз. И стали ждать.

Вот так сюрприз!

Вторая заварка обнаружила в чае Моли Хуа явственный запах земляники, который заполнил помещение, стоило блюдечку покинуть насиженное место поверх чашки. Спустя 30 минут после того, как первая порция зелёного китайского чая Моли Хуа оросила измученный кофеином организм, нас

окатила некая волна весёлой лёгкости. Несомненно, мы никак не связываем данное обстоятельство со свойствами данного сорта чая. Вполне вероятно, что сам факт начала эксперимента, как событие, которому сопутствуют новые впечатления, привело нас в приподнятое расположение духа.

PS

Кстати говоря, остывшим, зелёный чай Моли Хуа на вкус, цвет и запах – точь в точь наш среднестатистический компот из кислых яблок!

PPS

Категорическое требование ко всем читателям, рассматривать данное повествование, как изощрённый вариант давления на психику, именуемое в быту "рекламой". В своё оправдание сообщаем, что все факты описаны достоверно, попытка испробовать различные сорта китайского чая имеет место быть в точности, описываемым манером и порядком, без каких-либо искажений в угоду нашим братьям китайским фермерам и нашим согражданам – продавцам чая! И, как говаривал Остап Сулейман Берта-Мария Бендер Бей: "Милостиво повелеть соизволил..."

День второй.

На дворе август – скряга. Он натирает кроны деревьев на рассвете медью, а ведь даже май не жалеет злата... Перманент июльского зноя пережёт пряди травы, а холодная роса августа сбила её в неряшливые колтуны. Ну, а мы продолжаем сомнительный эксперимент дегустации китайского чая всех фасонов и мастей.

Во второй день, покрутив пакет с чаем и для верности зазмурившись, мы выловили 10 граммовую порцию чая, который, к нашему большому неудовольствию, опять оказался зелёным. Скрученные зелёные листья Ан Цзи Бай Ча выглядели угрожающе. Они были подозрительно ровными, одинаковыми, как зелёные спагетти, нарезанные в форме мелкой вермишели. Но более всего чайники напоминали скрученные обрывки зелёной бумаги для аппликации...

Наученные горьким опытом вчерашнего чаепития, а мы не упомянули о том, что Моли Хуа, как оказалось, воздействуя на пищеварение стимулирующим образом, могут вызвать (и вызвали!) колики у взрослого человека, как у младенца. Мы решили сперва разузнать функциональные особенности чая Ан Цзи Бай Ча, дабы избежать неприятностей и быть способными довести начатый опыт до его логического завершения.

На время переменяв иронично-игривый тон на назидательный, не преминем предупредить читателя об опасности, которые таят в себе зелёные чайные сборы из страны, в которой не ведут счёт количеству проживающих и не очень берегут их. Зелёный чай сам по себе и в сочетании с различными добавками, может привести к разного рода стимуляции желудочно-кишечного тракта. Чай использует любую имеющуюся в организме лазейку, вымещая всё, чуждое ему. Но, как водится, что русскому хорошо, то немцу – смерть.

Вполне вероятно, что рис – основной продукт чаераспределительной нации, как пища пластичная и вязкая, нуждается в соседстве зелёного чая, который один лишь и способен расщепить сей продукт. В организме гражданина не привыкшего к однообразной рисовой диете присутствует масса нужных полезных бактерий и микроорганизмов, которые все разом, дружно, но в различных участках желудочно-кишечного тракта участвуют в переработке и усвоении всего, что попало в рот... Зелёный чай же настолько непримирим и надменен, что пытается выжить всех возможных конкурентов, обрекая организм хозяина – любителя зелёного чая на пожизненную кабалу. Организм среднестатистического россиянина не рассчитан на подобное издевательство. Отмытый до блеска от микрофлоры кишечник, как младенец, беззащитен для любых проявлений агрессивности со стороны пи-

щи. Любой грубый или плохо пережёванный продукт травмоопасен! Последствия могут быть (и бывают!)— самыми плачевными... Кстати говоря, имели место быть случаи приступы гипертонической болезни на фоне приёма вовнутрь зелёного чая с добавками! Так что,— не спешите следовать поговоркам "Брюхо не зеркало" и "Всё полезно, что в рот полезло". Потирая ручки подле накрытого стола, и роняя шипящую голодную слюну в тарелку соседа, думайте,— а оно вам полезно? Организм и вы — одно целое на довольно продолжительный период времени. А посему — берегите инструмент своего существования!

Однако вернёмся к нашей заварке. Запах чайных листьев Ан Цзи Бай Ча оказался неожиданно приятным. Что-то сладкое... далёкий аромат горячей ванильной выпечки. Очень далёкий но весьма узнаваемый, тем не менее. Но сам вид листьев портил всё дело. Напоминаем, что листья напоминают вымазанную желто-зелёной акварелью бумагу, которую высушили, нарезали на идеально ровные полосочки и скрутили в мелкие трубочки... грязными маленькими шустрými пальчиками.

Но, -будем последовательны! Включили в сеть электрочайник, достали из шкафчика маленькую фарфоровую кофейную чашечку... (Ну, не всё ж нам сию китайскую отраву пить, дойдёт черёд и до кофе!) Ополоснули чашку горячей

водой, кинули на её дно щепотку Ан Цзи Бай Ча... Некрасивые акварельные листочки, в противовес ожиданию, не растворились, оставляя грязные потёки в воде. Они весьма скоро развернулись, приобретя очертания молодых листьев водной лилии и оттенков листьев салата. Помещение наполнилось тёплым запахом согретой солнцем реки... Стало грустно. Очень захотелось на реку: втянуть этот ни с чем не сравнимый аромат лета... А вот пить этот чай расхотелось совсем!.. Эх, была не была!

Глубокий вдох, как перед нырком, и... На этот раз жидкость оказалась похожей на воду, в которой полоскали мелкую лесную землянику. Лесная земляника обладает сильным ароматом и неясным нежным вкусом. Так и этот чай – Ан Цзи Бай Ча, – он интересно пахнет, но вовсе не будоражит рецепторы языка. Скорее, он будит воображение, чем толкает на действия. Ну, что ж, – лиха беда начало! Это был всего второй день чайного марафона и всего второй чай – Ан Цзи Бай Ча!

День третий.

Примета близкой осени – муха бьётся головой о стекло. Как банально! Но стекло отвечает ей упругим теннисным гулом. Быть может, ему приятно, что хотя кто-то смотрит не сквозь, а прямо на него?... Может и так. Ну, а мы обращаем всё своё внимание на следующего участника нашего отчаянного эксперимента и очень рассчитываем на то, что чай третьего дня не окажется, как два предыдущих, зелёным... Айн-цвай-драй... Удача нам улыбнулась и из зелёной зоны мы молниеносно переместились в красную, выбрав наугад из пакета красный чай Хэй Цзинь. Несомненно, он оказался совершенно непохожим на привычный каркадэ.

Нимало не смущаясь, Хэй Цзинь вдребезги разбил надежду заполучить нечто красное или хотя бы розовое. Залитые горячей водой, чайники стали похожи на шустрые личинки комаров. Впрочем, ничего отталкивающего. Хэй Цзинь таял на глазах, щедро распределяя по чашке ярко-зелёный шлейф... Спустя минуту, как бы опомнившись, чайники окутали самоё себя невразумительной красно-коричневой пеленой и вышло весьма красиво. Весь чайный настой нежно-зелёного цвета, а подле доньшка чашки сформировалось лёгкое коричнево-оранжевое облачко, которое держалось особняком настолько, что казалось нарисованным. Весьма порадовал запах чая Хэй Цзинь. Он источал аромат хорошего

крепкого чая, который мы пили вечером воскресенья, сидя у телевизора, с экрана которого Сенкевич рассказывал о прелестях различных стран мира. К примеру – о необычайных красотах Мальты, которая, как выяснилось пол века спустя, – довольно-таки противное и грязное место, старинные здания которого обезображены канализационными трубами, а на клумбах, вперемежку с цветами, утыканы окурками и пустой тарой... Впрочем, к нашему рассказу о чае это не имеет никакого отношения.

Так каким же оказался на вкус этот красно-звонкий Хэй Дзинь?! Пока мы разобрались в наших чувствах к нашим воспоминаниям, оказалось, что хорошо заваренный красный чай Хэй Дзинь пахнет кофе с нотками какао, а на вкус точь в точь – чай из детства, "Номер 36"! Быть может, нас обманывали, и, вместо непонятно чего поили вкусным правильным чаем, а? Как вы думаете?!

День четвёртый.

Солнце, обжаривает округу на медленном огне. Деревья ржавеют одно за другим. Но не сразу, а постепенно. Так и мы, будучи не в состоянии попробовать весь чай сразу, делаем это степенно и внимательно. Уважение к деталям позволяет оценить размеры слона по структуре щетины из его уха. В нашем случае – чашка чая, выпитая человеком небалованным, непредвзятым, минуя воздействие доброхотов и недругов, без каких-либо наполнителей и вне трапезы, даёт поразительный эффект чистоты эксперимента.

Вы говорите, что нечто источает аромат апельсина, бергамота с нотками пачули?! Вы можете с лёгкостью узнать все эти запахи и классифицировать их? У вас под окнами растёт всё это? Или вы, как попугай вторите тому, что навязывает реклама? Мы призываем вас быть свободными. Учитесь выражать своё мнение, а не повторять с умным видом то, что скажут другие, такие же невежественные, как и вы сами!

Обиделись? В самом деле?! Ну, полно! Давайте-ка лучше ещё чайку!

Красный чай Ли Чжи Хун Ча, который нам выпало пробовать на четвёртый день, при заливании его горячей водой

правильной температуры выпускает в воду облако невидимых чернил, словно осьминог. Мы честно пытались проследить за миграцией молекул чая, но ничего, кроме горячей воды цвета испуганной лягушки к завершению процесса заварки не дождались.

Неуловимый праздничный запах сухого чайного листа, – выдох холодного шампанского, яркий свет хрусталя с потолка, превратился в камнедробительный дух листьев толокнянки, именуемыми в народе "медвежьими ушками", за схожесть с оными. Однако, к моменту собственно чаепития оказалось, что прямолинейный и грубоватый запах толокнянки волшебным образом трансформировался до лёгкого медового, как дуновение ветерка со стороны дальней пасеки в лесу. Превращения запахов завершились неожиданно и банально: от чашки повеяло кашей, воспетой рыбаками. Перловкой!

Стоит отметить, что листья чая Ли Чжи Хун Ча весьма стойки к воздействию варёной воды, что сулит ему славу чая долгоиграющего. Это несомненное преимущество при использовании данного вида чая в сфере общественного питания. Тем более, что вкус сего напитка мало отличается от вкуса того столовского "чая" семидесятых годов прошлого века, который готовили по некому чудовищному рецепту так, что от самого напитка в нём оставалось лишь только намёк на чайный цвет.

День пятый.

Когда расставляешь посуду в полупустую сушилку, она гремит своими проволочками, словно расстроенный рояль. Извлекает звуки! Вот, что значит – стремление к прекрасному... В попытке приобщиться ко в меру изысканному и не в меру разнообразному ассортименту китайского чая, мы переместили из сушилки на стол порядком напуганную чаем кофейную чашечку и поставили воду на огонь.

В ожидании белой от возмущения воды, прошуршали пакетиками и выбрали тот, на этикетке которого значилось, что это китайский чай Те Гуань Инь (А). Заварка приятно пахла абрикосовыми косточками, на вид же напоминала подсушенный солнцем воробьиный помёт. Те Гуань Инь оказался весьма податливым и в воде размяк почти что моментально. Распустил, так сказать, нюни, не взял на себя труда окрасить воду в какой-либо приемлемый или узнаваемый цвет, и, к тому же, распространил подле себя волны амбре сандала... Ну, что сказать? Теперь мы знаем, из чего Estee Lauder творят Private Collection!

Однако на вкус Те Гуань Инь оказался похож на обычный зелёный из обычного магазина. И головную боль этот чай, вопреки обещанному производителем, не снял... Но послекусие... Послекусие Те Гуань Инь, признаться, очарова-

ло. То ли мята, то ли не она... Что-то из далёкого пионерского детства, когда путешествуя на каноэ по узким рекам, где трава с одного берега ерошит чуб травы с другого без какого-либо усилия, вода в закрытой фляжке пропитывается холодным ветром перечной мяты и даже тёплой освежает и веселит самым непостижимым образом...

День шестой

«Пиджак на его левом плече, постоянно влажный в неизменно белой чешуе, выдавал в нём человека нервического, склонного верить в приметы и намёки, а потому постоянно осыпающим пространство за собой солью, предваряя сие троекратными плевками, отчего его губы стали жёсткими и тонкими, как у трубача похоронной команды.» М-да... Чем читать подобное, лучше ещё раз глотнуть зелёного чая, который, даже будучи причисленным к оному, выдаёт нам сюрприз за сюрпризом и каждый раз оказывается всё меньше и меньше похожим сам на себя.

Тем более, нам выпало пробовать нынче не один из улун-ов, и не тот, что плечом к плечу соседствует с одним из красных чаев. Би Ло Чюнь – так именуется чай, которому будет горячо от закипающей воды сегодня. Опрометчиво втянув в себя воздух подле раскрытого пакета, мы пришли к выводу, что Би Ло Чюнь способен привести в экстаз любого автогонщика. Этот чай в сухом виде – достойное дополнение «резиновому» запаху, который сопровождает скоростную трассу, Кстати говоря, в нашем эксперименте невольно поучаствовал кот породы сфинкс. Он не любит всё, связанное с дорогой.

Привлечённый шуршанием пакета, он подошёл . тронул лапой...осторожно понюхал и...побежал прятаться под диван. То есть сделал в точности то, что обычно проделывает в качестве демонстрации своего нежелания покидать дом...

Не станем вас томить. Вкус Би Ло Чюнь не разочаровал бы любителя выкатить на автостраду собственноручно собранный гибрид пароварки с самокатом. Нам же, людям без фантазии, хочется, чтобы было вкусно и весело. Впрочем...врать не станем, запах новой резины в растворе не проявился .

День седьмой

Мы, люди, нечего лукавить, – и все мы любим пожрать. Так ведь?! Но чтобы жизнь превращать в погоню за вкусной едой... Неужели заняться больше нечем?! Разве нет интересов кроме? Ну, а ежели нет, как быть?! Китайские фермеры советуют пить чай, чтобы гурманство, пристрастие к деликатесам, стремление доестъ всё, «чтобы не пропало» или попросту – обжорство не влияло на внешний вид и настроение. Какой именно чай выбрать? Кое-кто советует «Летящую ласточку», не к ночи будь упомянут сей жуткий состав. Иной предложит обратить внимание на ягоды годжи...

Обратили на них своё внимание и мы...

И что ж? Смущённые и скукоженные, они производят впечатление уже однажды съеденных. Но нет в том их вины. Уж какие есть!

Кое-кто из читателей, глядя на недешёвую горсть этого недоразумения под раздутым агрессивной рекламой названием, вероятно, вспомнит детское : «Коза-дереза, пол бока луплено, за три гроша куплена...» И ведь неспроста вспомнит, кстати говоря! Дело в том, что «Ягоды годжи» это не что иное, как наша среднерусская дереза. Дереза обыкновенная. Один из видов собирательного образа ягод сомнительного

качества и вкуса, под названием «Волчья ягода». Так что – не обессудьте, но попробовать ...это?! Нам мама не велит совать в рот всякую гадость!

День восьмой

Если кто-либо спросит, нюхали ли вы порох, не вдаваясь в тонкости восприятия идиоматических выражений, смело самоутверждайтесь, кивая головой. Для верности советуем нанести визит в чайную лавку, дабы прикупить некоторое количество зелёного Бла-бла. Его приятный аромат практически полностью соответствует представлению человечества о запахе зернистого состава, из угля, селитры и серы, используемый для стрельбы. Но заварка не порох, её не следует держать сухой дольше, чем вода нагреется до восьмидесяти пяти градусов по Цельсию, что соответствует ста восьмидесяти пяти по Фаренгейту .

День девятый

Модное нынче слово «социализация» означает, как быстро ребёнок, подросток находит свою нишу в обществе. Чаще всего этот процесс сопровождается увеличением печени и затемнением в лёгких. В лучшем случае – утренней тошнотой и бронхитом. Для того, чтобы избежать столь нежелательных последствий, ребёнку следует объяснить, что предложение выпить надо пресекать враньём про «вчерашнее», а отказ от курения сопровождать лицом, умело собранным мимическими морщинами в маску сожаления: «Бросаю, мол!» При этом нелишним окажется демонстрация вывернутых карманов с высыпающимися оттуда крошками «табака»... Чтобы вдохнуть в этот процесс «правду жизни», снабдите отпрыска некоторым количеством зелёного чая который обладает узнаваемым запахом листьев табака, из которых скручивают толстые плотные кубинские сигары цвета молочного шоколада.

День десятый

...Всё! Пытку зелёным чаем не имеет смысла тянуть дольше. Тот, кто считает этот чай панацеей ото всех проблем, имеет право на это заблуждение. Но не секрет, – что однажды стало лекарством, не может превратиться в лакомство!

А то, что кажется опровержением, для нас таковым не является. Мы не участвуем в спорах, ибо мы не поборники чужих истин! Где бы они не находились, – в чае или в вине...

Мы не деревья...

Лес, пользуясь покровительством, либо, что вернее, – попустительством ночи, переступал с ноги на ногу. Нимало не желая привлекать к себе внимание, был, тем не менее, весьма заметен, ибо с непривычки топал явственно, неумело и неаккуратно от того, притом оставлял на снегу следы: то волчьей мерной пробежки, то лисьего хитрого хода, то заячьего переплетения. Стараясь скрыть свидетельства сего, лишённого обычая поступка, лес взывал к ветру рыданиями, похожими на волчий вой, дабы помог он ему, и стряхнув с эполет ветвей сугробы, прикрыл неумеренные, неуместные отпечатки его деяний.

Ветер не внял. Не отчего-то, а так просто. По заведённо-

му не им обычаю, ветер был своеволен не более иных, и не было для него в тот час веских причин оказаться полезным, снизойти к мольбам леса.

Небеса же, свидетели его терзаний, впрочем, как и всех прочих, сжалились, да принялись заслонять лес от нескромных догадливых взоров, чем умели: то тканым подолом мелкого снега, то крупновязанной шалью рыхлого, то драгоценным палантином метели, а то и просто, без затей, – плотными грубыми холщовыми гардинами, через которые себя не увидеть, не то провинившуюся перед собою лесную чашу.

Снег шёл густо, важно, заодно со следами засыпая любые неровности и углубления шагов леса, как многих его обитателей.

Начавшись однажды, снег не мог заставить себя остановиться, и через день, много – два, лес был связан по рукам и ногам. Он уже не только не мог идти, либо топтаться на месте, но теперь позабыл, как хотел этого когда-то, а потому не порывался боле, стоял, не прилагая усилий к тому, покорно ожидая своей, какой угодно участи. Холмы дебелих сугробов, вальяжно развальясь поверх, отдувались, и не в силах пожелать подняться и уйти, грузно скрипели в креслах дерев, угрожая угробить их в щепки, или по-крайней мере, ободрать все ветки вместе с корой.

Точно так ли гибнут и наши порывы. Подспудно мы жела-

ем их осуществления, а после жалеет о них, несбывшихся, как о нерождённых детях, и изнемогая под наметёнными сугробами сочинённых наспех препон, покоряемся их напору. Хотя не должны. Не имеем права. Мы не деревья, хотя и их тоже – очень жаль.

Отсебятина

– Баю-бай... засыпай, баю-бай... засыпай... – Качаю я сына, надеясь, что он поскорее заснёт, а я пойду, наконец, делать свои дела. Малыш не хнычет, не плачет, но и не спит. Смотрит серьёзно в глаза знающим спокойным взглядом прожившего жизнь человека, моргает, как старичок, и молчит. От того делается немного не по себе. Совсем немного, но всё же.

Вместо того, чтобы насладиться дыханием родного человека, его запахом, спокойствием, как мудростью, я начинаю нервничать, что не успею сделать одного, другого, третьего, – ничего особенного, в общем, просто накопилось много всякой бытовой ерунды. Ну, и хочется оставить немного времени «для себя». Но... Что оно такое это «для себя». А прочее кому? К тому же, неужто есть что-то важнее глубокого, будто из вечности, взгляда твоего ребёнка, его едва слышного сладкого дыхания, этой, так скоро проходящей близости?... Нет, конечно. Нет ничего важнее этого. Не было. Теперь уж и нет. Редко когда подпустит обнять, ни к чему ему теперь «эти нежности». Зато мне нужны, но увы. Теперь без них. Не вернуть.

Так отчего было не посидеть тогда спокойно, и, прижав к себе крепко, слушать, как обгоняя друг друга бьются наши

сердца. Без «ты меня не понимаешь, с

Разве умели мы когда-либо ценить то, что имеем сейчас, в эту самую минуту? Редко, почти никогда. Чаще живём прошлым, да, превознося его, вновь не церемонимся с настоящим. И оно тушует, скромничает, уступает, не считает возможным, не торопится доказывать, сколь мало у него его самого, а уж тем более – у нас. Настоящее всегда спешит. Спешит уйти, скрыться с глаз долой, а там уж – разбирайся сам, каково оно было, коли не разглядел в самый его час.

Вот такая вот отсебятинка. А что это в самом деле – отвергнутое однажды по недомыслию или то, которое долго нежил, пестовал в своей душе, и высказал, наконец начистоту, прямо таким, каково оно есть, не кривя душой?

Неведомо никому, прежде прочих – самому тебе.